

Вальтер Скотт Айвенго

Предисловие

До сих пор автор «Уэверли» неизменно пользовался успехом у читателей и в избранной им области литературы мог по праву считаться баловнем судьбы. Однако было ясно, что, слишком часто появляясь в печати, он в конце концов должен был исчерпать благосклонность публики, если бы не изобрёл способа придать видимость новизны своим последующим произведениям. Прежде для оживления повествования автор обращался к шотландским нравам, шотландскому говору и шотландским характерам, которые были ему ближе всего знакомы. Но такая односторонность, несомненно, должна была привести его к некоторому однообразию и повторениям и заставила бы наконец читателя заговорить языком Эдвина из «Повести» Парнелла:

Кричит он: «Прекрати рассказ!
Уже довольно! Хватит с нас!
Брось фокусы свои!»¹

¹ Стихотворные переводы, кроме особо оговорённых,

Нет ничего опаснее для репутации профессора изящных искусств (если только в его возможностях избежать этого), чем приклеенный к нему ярлык художника-маньериста или предположение, что он способен успешно творить лишь в одном и весьма узком плане. Публика вообще склонна считать, что художник, заслуживший её симпатии за какую-нибудь одну своеобразную композицию, именно благодаря своему дарованию не способен взяться за другие темы. Публика недоброжелательно относится к тем, кто её развлекает, когда они пробуют разнообразить используемые ими средства; это проявляется в отрицательных суждениях, высказываемых обычно по поводу актёров или художников, которые осмелились испробовать свои силы в новой области, для того чтобы расширить возможности своего искусства.

В этом мнении есть доля правды, как и во всех общепринятых суждениях. В театре часто бывает, что актёр, обладающий всеми внешними данными, необходимыми для совершенного исполнения комедийных ролей, лишён из-за этого возможности надеяться на успех в трагедии. Равным образом и в

живописи и в литературе художник или поэт часто владеет лишь определёнными изобразительными средствами и способами передачи некоторых настроений, что ограничивает их в выборе предметов для изображения. Но гораздо чаще способности, доставившие человеку популярность в одной области, обеспечивают ему успех и в других. Это в значительно большей степени относится к литературе, чем к театру или живописи, потому что здесь автор в своих исканиях не ограничен ни особенностями своих черт лица, ни телосложением, ни навыками в использовании кисти, соответствующими лишь известному роду сюжетов.

Быть может, эти рассуждения и неправильны, но, во всяком случае, автор чувствовал, что если бы он ограничился исключительно шотландскими темами, он не только должен был бы надоесть читателям, но и чрезвычайно сузил бы возможности, которыми располагал для доставления им удовольствия. В высокопросвещенной стране, где столько талантов ежемесячно занято развлечением публики, свежая тема, на которую автору посчастливилось натолкнуться, подобна источнику в пустыне:

Хваля судьбу, в нём люди видят счастье.

Но когда люди, лошади, верблюды и рогатый скот замутят этот источник, его вода становится противной тем, кто только что пил её с наслаждением, а тот, кому принадлежит заслуга открытия этого источника, должен найти новые родники и тем самым обнаружить свой талант, если он хочет сохранить уважение своих соотечественников.

Если писатель, творчество которого ограничено кругом определённых тем, пытается поддержать свою репутацию, подновляя сюжеты, которые уже доставили ему успех, его, без сомнения, ожидает неудача. Если руда ещё не вся добыта, то, во всяком случае, силы рудокопа неизбежно истощились. Если он в точности подражает прозаическим произведениям, которые прежде ему удавались, он обречён «удивляться тому, что они больше не имеют успеха».

Если он пробует по-новому подойти к прежним темам, он скоро понимает, что уже не может писать ясно, естественно и изящно, и вынужден прибегнуть к карикатурам, для того чтобы добиться необходимого очарования новизны. Таким образом, желая избежать повторений, он лишается естественности.

Быть может, нет необходимости перечислять все причины, по которым автор шотландских

романов, как их тогда называли, попытался написать роман на английскую тему В то же время он намеревался сделать свой опыт возможно более полным, представив публике задуманное им произведение как создание нового претендента на её симпатии, чтобы ни малейшая степень предубеждения, будь то в пользу автора или против него, не воспрепятствовала беспристрастной оценке нового романа автора «Уэверли», но впоследствии он оставил это намерение по причинам, которые изложит позднее.

Автор избрал для описания эпоху царствования Ричарда I: это время богато героями, имена которых способны привлечь общее внимание, и вместе с тем отмечено резкими противоречиями между саксами, возделывавшими землю, и норманнами, которые владели этой землёй в качестве завоевателей и не желали ни смешиваться с побеждёнными, ни признавать их людьми своей породы. Мысль об этом противопоставлении была взята из трагедии талантливого и несчастного Логана «Руннемед», посвящённой тому же периоду истории; в этой пьесе автор увидел изображение вражды саксонских и норманнских баронов. Однако, сколько помнится, в этой трагедии не было сделано попытки противопоставить чувства и обычаи обоих этих племён; к тому же было очевидно, что

изображение саксов как ещё не истреблённой воинственной и высокомерной знати было грубым насилием над исторической правдой.

Ведь саксы уцелели именно как простой народ; правда, некоторые старые саксонские роды обладали богатством и властью, но их положение было исключительным по сравнению с униженным состоянием племени в целом. Автору казалось, что если бы он выполнил свою задачу, читатель мог бы заинтересоваться изображением одновременного существования в одной стране двух племён: побеждённых, отличавшихся простыми, грубыми и прямыми нравами и духом вольности, и победителей, замечательных стремлением к воинской славе, к личным подвигам — ко всему, что могло сделать их цветом рыцарства, и эта картина, дополненная изображением иных характеров, свойственных тому времени и той же стране, могла бы заинтересовать читателя своей пестротой, если бы автор, со своей стороны оказался на высоте положения.

Однако последнее время именно Шотландия служила по преимуществу местом действия так называемого исторического романа, и вступительное послание мистера Лоренса Темплтона тем самым становится здесь уместным.

Что касается этого предисловия, то читатель должен рассматривать его как выражение мнений и

намерений автора, предпринявшего этот литературный труд с той оговоркой, что он далёк от мысли, что ему удалось достичь конечной цели. Едва ли необходимо добавить, что здесь не было намерения выдавать предполагаемого мистера Темплтона за действительное лицо. Однако недавно каким-то анонимным автором были сделаны попытки написать продолжение «Рассказов трактирщика». В связи с этим можно предположить, что это посвящение будет принято за такую же мистификацию и поведёт любопытных по ложному следу, заставляя их думать, что перед ними произведение нового претендента на успех.

После того как значительная часть этой книги была закончена и напечатана, издатели, которым казалось, что она должна иметь успех, выступили против того, чтобы произведение появилось в качестве анонимного. Они утверждали, что книгу нельзя лишать преимущества, заключающегося в её принадлежности перу автора «Уэверли». Автор не очень стойко сопротивлялся им, так как он начал думать вместе с доктором Уилером (из прекрасной повести мисс Эджуорт «Ловкость»), что «хитрость, прибавленная к хитрости», может вывести из терпения снисходительную публику, которая может подумать, что автор пренебрегает её милостями.

Поэтому книга появилась просто как один из романов Уэверли, и было бы неблагодарностью со

стороны автора не отметить, что она была принята так же благосклонно, как и предыдущие его произведения.

Примечания, которые могут помочь читателю разобраться в характере еврея, тамплиера, капитана наёмников, или, как они назывались, вольных товарищей, и проч., даны в сжатой форме, так как все сведения по этому предмету могут быть найдены в книгах по всеобщей истории.

Тот эпизод романа, который имел успех у многих читателей, заимствован из сокровищницы старинных баллад. Я имею в виду встречу короля с монахом Туком в келье этого весёлого отшельника. Общая канва этой истории встречается во все времена и у всех народов, соревнующихся друг с другом в описании странствий переодетого монарха, который, спускаясь из любопытства или ради развлечений в низшие слои общества, встречается с приключениями, занятными для читателя или слушателя благодаря противоположности между подлинным положением короля и его наружностью. Восточный сказочник повествует о путешествиях переодетого Харуна ар-Рашида и его верными слугами, Месруром и Джафаром, по полуночным улицам Багдада; шотландское предание говорит о сходных подвигах Иакова V, принимавшего во время таких походов дорожное имя хозяина Балленгейха,

подобно тому как повелитель верующих, когда он желал оставаться инкогнито, был известен под именем Иль Бондокани. Французские менестрели не уклонились от столь распространённой темы. Должен существовать норманнский источник шотландской стихотворной повести «Rauf Colziar», в которой Карл предстаёт в качестве безвестного гостя угольщика, — как будто и другие произведения этого рода были подражаниями указанной повести.

В весёлой Англии народным балладам на эту тему нет числа. Стихотворение «Староста Джон», упомянутое епископом Перси в книге «Памятники старой английской поэзии», кажется, посвящено подобному случаю; кроме того, имеются «Король и Бамвортский дубильщик», «Король и Мэнсфилдский мельник» и другие произведения на ту же тему. Но произведение этого рода, которому автор «Айвенго» особенно обязан, на два века старше тех, что были упомянуты выше.

Впервые оно было опубликовано в любопытном собрании произведений древней литературы, составленном соединёнными усилиями сэра Эгертона Бриджа и мистера Хейзлвуда, выходявшем в виде периодического издания под названием «Британский библиограф». Отсюда он был перепечатан достопочтенным Чарлзом Генри Хартшорном, издателем весьма интересной книги,

озаглавленной «Старинные повести в стихах, напечатанных главным образом по первоисточникам, 1829 г.». Мистер Хартшорн не указывает для интересующего» нас отрывка никакого другого источника, кроме публикации «Библиографа», озаглавленной «Король и отшельник». Краткий пересказ содержания этого отрывка покажет его сходство с эпизодом встречи короля Ричарда с монахом Туком.

Король Эдуард (не указывается, какой именно из монархов, носивших это имя, но, судя по характеру и привычкам, мы можем предположить, что это Эдуард IV) отправился со всем своим двором на славную охоту в Шервудские леса, где, как это часто случается с королями в балладах, он напал на след необычайно большого и быстрого оленя; король преследовал его до тех пор, пока не потерял из виду свою свиту и не замучил собак и коня. С приближением ночи король очутился один в сумраке огромного леса. Охваченный беспокойством, естественным в таком положении, король вспомнил рассказы о том, что бедняки, которые боятся остаться ночью без крова, молятся святому Юлиану, считающемуся, согласно католическому календарю, главным квартирмейстером, доставляющим убежище всем сбившимся с дороги путникам, которые почитают его должным образом. Эдуард помолился и,

очевидно благодаря заступничеству этого святого, набрёл на узкую тропу, которая привела его к келье отшельника, стоящей у лесной часовни. Король услышал, как благочестивый муж вместе с товарищем, разделявшим его одиночество, перебирал в келье чётки, и смиренно попросил у них приюта на ночь.

— Моё жилище не подходит для такого господина, как вы, — сказал отшельник. — Я живу здесь в глуши, питаюсь корнями и корой и не могу принять у себя даже самого жалкого бродягу, разве что речь шла бы о спасении его жизни».

Король осведомился о том, как ему попасть в ближайший город. Когда он понял, что дорогу туда он мог бы найти только с большим трудом, даже если бы ему помогал дневной свет, он заявил: как отшельнику угодно, а он, король, решил стать его гостем на эту ночь.

Отшельник согласился, намекнув, однако, что если бы он не был в монашеском одеянии, то не обратил бы внимания на угрозы, и что уступил бы не из страха, а просто чтобы не допустить бесчинства.

Короля впустили в келью. Ему дали две охапки соломы, чтобы он мог устроиться поудобнее. Он утешался тем, что теперь у него есть кров и что наступит скоро день.

Но в госте пробуждаются новые желания. Он

требуется ужина, говоря:

Прошу вас помнить об одном:
Что б ни было со мною днём,
Всегда я веселился ночью.

Но хотя он и сказал, что знает толк в хорошей еде, а также объяснил, что он придворный, заблудившийся во время большой королевской охоты, ему не удалось вытянуть у скупого отшельника ничего, кроме хлеба и сыра, которые не были для него особенно привлекательны; ещё менее приемлемым показался ему «трезвый напиток». Наконец король стал требовать от хозяина, чтобы тот ответил на вопрос, который гость несколько раз безуспешно задавал ему:

Дичь ты не умеешь бить?
Этого не может быть!
В славных ты живёшь местах;
Как уйдёт лесничий спать,
Можешь вволю дичь стрелять.
Здесь олени есть в лесах.
Я б с тобой поспорить мог,
Что отличный ты стрелок,
Хоть, конечно, ты монах.

В ответ на это отшельник выражает опасение,

не хочет ли гость вырвать у него признание в том, что он нарушал лесные законы; а если бы такое признание дошло до короля, оно могло бы стоить монаху жизни. Эдуард уверяет отшельника, что он сохранит тайну, и снова требует, чтобы тот достал оленину. Отшельник возражает ему, ссылаясь на свои монашеские обеты, и продолжает отвергать подобные подозрения:

Я питаюсь молоком,
А с охотой незнаком,
Хоть живу здесь много дней.
Грейся перед очагом,
Тихо спи себе потом,
Рясою укрыт моей.

По-видимому, рукопись здесь неисправна, потому что нельзя понять, что же, в конце концов, побуждает несговорчивого монаха удовлетворить желание короля. Но, признав, что его гость — на редкость «славный малый», святой отец вытаскивает всё лучшее, что припрятано в его келье. На столе появляются две свечи, освещающие белый хлеб и пироги; кроме того, подаётся солёная и свежая оленина, от которой они отрезают лакомые куски. «Мне пришлось бы есть хлеб всухомятку, — сказал король, — если бы я не выпросил у тебя твоей охотничьей добычи. А

теперь я бы поужинал по-царски, если бы только у нас нашлось что выпить».

Гостеприимный отшельник соглашается и на это и приказывает службе извлечь из тайника подле его постели бочонок в четыре галлона, после чего все трое приступают к основательной выпивке. Этой попойкой руководит отшельник, который следит за тем, чтобы особо торжественные слова повторялись всеми участниками пирушки по очереди перед каждым стаканом; с помощью этих весёлых восклицаний они упорядочивали свои возлияния, подобно тому как в новое время это стали делать с помощью тостов. Один пьяница говорит «Fusty bondias»², другой должен ответить «Ударь пантеру»; монах отпустил немало шуток насчёт забывчивости короля, который иногда забывал слова этого святого обряда.

В таких забавах проходит ночь. Наутро, расставаясь со своим почтенным хозяином, король приглашает его ко двору, обещая отблагодарить за гостеприимство и выражая полное удовлетворение оказанным ему приёмом. Весёлый монах соглашается явиться ко двору и спросить Джека Флетчера (этим именем назвался король). После того как отшельник показал королю своё искусство

² Набор слов, не имеющий смысла.

в стрельбе из лука, весёлые приятели расстаются. Король отправляется домой и по дороге находит свою свиту. Баллада дошла до нас без окончания, и поэтому мы не знаем, как раскрывается истинное положение вещей; по всей вероятности, это происходит так же, как и в других произведениях сходного содержания: хозяин ждёт казни за вольное обращение с монархом, скрывшим своё имя, и приятно поражён, когда вместо этого получает почести и награды.

В собрании мистера Хартшорна имеется баллада на тот же сюжет под названием: «Король Эдуард и пастух»; с точки зрения описания нравов она гораздо интереснее «Короля и отшельника»; но приводить её не входит в наши задачи. Читатель уже познакомился с первоначальной легендой, из которой мы заимствовали этот эпизод романа, и отождествление грешного монаха с братом Туком из истории Робина Гуда должно показаться ему вполне естественным.

Имя Айвенго было подсказано автору старинным стихотворением. Всем романистам случалось высказывать пожелание, подобное восклицанию Фальстафа, который хотел бы узнать, где продаются хорошие имена. В подобную минуту автор случайно вспомнил стихотворение, где упоминались названия трех поместий, отнятых у предка знаменитого Хемпдена в наказание за то,

что он ударил Чёрного принца ракеткой, поссорившись с ним во время игры в мяч:

Тогда был в наказание взят
У Хемпдена поместий рядом
Тринг, Винт, Айвенго. Был он рад
Спасться ценой таких утрат.

Это имя соответствовало замыслу автора в двух отношениях: во-первых, оно звучит на староанглийский лад; во-вторых, в нём нет никаких указаний относительно характера произведения. Последнему обстоятельству автор придавал большое значение. Так называемые «захватывающие» заглавия прежде всего служат интересам книгопродавцев или издателей, которые с помощью этих заглавий продают книгу прежде, чем она вышла из печати. Но автор, допустивший, чтобы к его ещё не изданному произведению было искусственно привлечено внимание публики, ставит себя в затруднительное положение: если, возбудив всеобщие ожидания, он не сможет их удовлетворить, это может стать роковым для его литературной славы. Кроме того, встречая такое заглавие, как «Пороховой заговор» или какое-нибудь другое, связанное со всемирной историей, всякий читатель ещё до того, как он увидит книгу, составляет себе определённое

представление о том, как должно развиваться повествование и какое удовольствие оно ему доставит. По всей вероятности, читатель будет обманут в своих ожиданиях, и в таком случае он осудит автора или его произведение, причинившее ему разочарование. В этом случае писателя осуждают не за то, что он не попал в намеченную им самим цель, а за то, что он не пустил стрелу в том направлении, о котором и не помышлял. Опираясь на непринуждённость отношений, которые автор завязал с читателями, он может, между прочим, упомянуть о том, что Окинлекская рукопись, приводящая имена целой орды норманнских баронов, подсказала ему чудовищное имя Фрон де Беф.

«Айвенго» имел большой успех при появлении и, можно сказать, дал автору право самому предписывать себе законы, так как с этих пор ему позволяется изображать в создаваемых им сочинениях как Англию, так и Шотландию.

Образ прекрасной еврейки возбудил сочувствие некоторых читательниц, которые обвинили автора в том, что, определяя судьбу своих героев, он предназначил руку Уилфреда не Ревекке, а менее привлекательной Ровене. Но, не говоря уже о том, что предрассудки той эпохи делали подобный брак почти невозможным, автор позволяет себе попутно заметить, что временное

благополучие не возвышает, а унижает людей, исполненных истинной добродетели и высокого благородства. Читателем романов является молодое поколение, и было бы слишком опасно преподносить им роковую доктрину, согласно которой чистота поведения и принципов естественно согласуется или неизменно вознаграждается удовлетворением наших страстей или исполнением наших желаний. Словом, если добродетельная и самоотверженная натура обделена земными благами, властью, положением в свете, если на её долю не достаётся удовлетворение внезапной и несчастной страсти, подобной страсти Ревекки к Айвенго, то нужно, чтобы читатель был способен сказать — поистине добродетель имеет особую награду. Ведь созерцание великой картины жизни показывает, что самоотречение и пожертвование своими страстями во имя долга редко бывают вознаграждены и что внутреннее сознание исполненных обязанностей даёт человеку подлинную награду — душевный покой, который никто не может ни отнять, ни дать.

Эбботсфорд, 1 сентября 1830
года.

**ПОСВЯЩЕНИЕ ДОСТОПОЧТЕННОМУ Д-РУ
ДРАЙЕЗДАСТУ Ф. А. С. В КАСЛ-ГЕЙТ, ЙОРК**

Многоуважаемый и дорогой сэръ,
Едва ли необходимо перечислять
здесь разнообразные, но чрезвычайно
веские соображения, побуждающие
меня поместить ваше имя перед
нижеследующим произведением.
Однако, если мой замысел не
увенчается успехом, основная из этих
причин может отпасть. Если бы я мог
надеяться, что эта книга достойна
Вашего покровительства, читатели
сразу поняли бы полную уместность
посвящения труда, в котором я
пытаюсь изобразить быт старой
Англии и в особенности быт наших
саксонских предков, учёному автору
очерков о Роге короля Ульфуса и о
землях, пожертвованных им престолу
св. Петра.

Однако я сознаю, что поверхностное,
далеко не удовлетворительное и
упрощённое изложение результатов
моих исторических разысканий на
страницах этого романа ставит моё
сочинение гораздо ниже тех, которые
носят гордый девиз: *Detur digniori*³.
Напротив, я боюсь подвергнуться

³ Да будет дано достойнейшему (лат.).

осуждению за самонадеянность, помещая достойное, уважаемое всеми имя д-ра Джонаса Драйездаста на первых страницах книги, которую более серьёзные знатоки старины поставят на одну доску с современными пустыми романами и повестями. Мне было бы очень желательно снять с себя это обвинение, потому что, хотя я и надеюсь заслужить снисхождение в Ваших глазах, рассчитывая на Вашу дружбу, мне бы отнюдь не хотелось быть обвинённым читателями в столь серьёзной проступке, который предвидит моё боязливое воображение.

Поэтому я хочу напомнить Вам, что, когда мы впервые совместно обсуждали этого рода произведения, в одном из которых так неделикатно затронуты частные и семейные дела Вашего учёного северного друга мистера Олдбока из Монкбарнса, у нас возникли разногласия относительно причин популярности этих произведений в наш пустой век. Каковы бы ни были их многочисленные достоинства, нужно согласиться, что все они написаны

чрезвычайно небрежно и нарушают все законы эпических произведений. Тогда Вы, казалось, придерживались мнения, что весь секрет очарования заключается в искусстве, с которым автор, подобно второму Макферсону, использует сокровища старины, разбросанные повсюду, обогащая своё вялое и скудное воображение готовыми мотивами из недавнего прошлого родной страны и вводя в рассказ действительно существующих людей, порою даже не изменяя имён. Вы отмечали, что не прошло ещё шестидесяти — семидесяти лет с тех пор, как весь север Шотландии находился под управлением, почти таким же простым и патриархальным, как управление наших добрых союзников мохоков и ирокезов. Признавая, что сам автор мог и не быть уже свидетелем событий того времени, Вы указывали, что он всё же должен был общаться с людьми, которые жили и страдали в ту эпоху. Но уже за последние тридцать лет нравы Шотландии претерпели такие глубокие изменения, что сами шотландцы смотрят на нравы и обычаи своих прямых предков как мы

на нравы времён царствования королевы Анны или даже времён Революции. При таких условиях единственное, что могло бы, по Вашему мнению, смутить автора, при наличии огромного количества отдельных фактов и материалов, — это трудность выбора. Поэтому не было ничего удивительного, что, начав разрабатывать столь богатую жилу, он получил от своих работ выгоду и славу, не оправдываемые сравнительной лёгкостью его труда.

Соглашаясь в общем с правильностью Вашей точки зрения, я не могу не удивляться тому, что до сих пор никто не попытался возбудить интерес к преданиям и нравам старой Англии, тогда как по отношению к нашим бедным и менее знаменитым соседям мы имеем целый ряд таких попыток.

Зелёное сукно, несмотря на то, что оно древнее, должно, конечно, быть не менее дорого нашему сердцу, чем пёстрый тартан северянину. Имя Робина Гуда, если с умом им воспользоваться, может так же воодушевлять, как и имя Роб Роя, а английские патриоты заслуживают не меньших похвал в нашей среде, чем

Брюс и Уоллес в Каледонии. Если южные пейзажи не так романтичны и величественны, как северные горные ландшафты, то зато они превосходят их своей мягкой и спокойной красотой. Всё это даёт им право воскликнуть вместе с патриотом Сирии: «Не прекрасней ли всех рек Израиля — Фарфар и Авана, реки Дамаска?»»

Ваши возражения против такого рода попыток, дорогой доктор, если Вы разрешите напомнить, были двоякими. С одной стороны. Вы настаивали на преимуществах шотландцев, в чьей стране ещё совсем недавно существовал тот самый быт, который должен был служить фоном для развивающегося действия. Ещё и теперь многие хорошо помнят людей, которые не только видели знаменитого Роя Мак-Грегора, но и пировали и даже сражались вместе с ним. Все мельчайшие подробности, относящиеся к частной жизни и быту того времени, всё, что придаёт правдоподобие рассказу и своеобразие выведенным характерам, — все это хорошо знают и помнят в Шотландии. Напротив, в

Англии цивилизация уже давно достигла такого высокого уровня, что единственным источником сведений о наших предках стали старые летописи, авторы которых как бы сговорились замалчивать все интересные подробности для того, чтобы дать место цветам монашеского красноречия и избитым рассуждениям о морали. Вы утверждали, что было бы несправедливо равнять английских и шотландских писателей, соперничающих в воплощении и оживлении преданий своих стран. Вы говорили, что шотландский волшебник, подобно лукановской колдунье, может свободно бродить по ещё свежему полю битвы, выбирая, чтобы воскресить своим колдовством, те тела, где только что трепетала жизнь и на чьих устах только что замерли последние стоны.

А ведь сама могущественная Эрихто должна была выбирать именно таких мертвецов, ибо только их могло воскресить её искусное волшебство:

... gelidas leto scrutata medullas,
Pulmonis rigidi stantes sine vulnere
fibras

Invenit, et vocem defuncto in
corpore quaerit».⁴

А в то же время английскому писателю, — будь он столь же могущественен, как Северный Волшебник, — предоставлено, в поисках своих сюжетов, рыться в пыли веков, где ничего нельзя найти, кроме сухих, безжизненных, истлевших и размётанных костей, подобных тем, какими была усеяна Иосафатова долина. С другой стороны, Вы выражали опасения, что лишённые патриотизма предрассудки моих земляков не позволяют им справедливо оценить то произведение, возможность успеха которого мне хотелось доказать. Это обстоятельство, говорили Вы, лишь отчасти обусловлено всеобщим предпочтением иностранного своему; оно зависит ещё также от той особой обстановки, в которой находится английский читатель.

⁴ ...роясь во внутренностях, замороженных смертью, она находит застывшие не от раны волокна окоченевшего лёгкого и ищет голос в мёртвом теле (лат.).

Если Вы будете рассказывать ему о первобытном состоянии общества и диких нравах, существующих в горной Шотландии, он охотно согласится со всеми Вашими рассказами. И это вполне понятно. Рядовой читатель либо вообще никогда не бывал в этих отдалённых районах, либо проезжал эти пустынные области во время своих летних поездок. Плохие обеды, убогие ночлеги, нищета и разорение, встречаемые на каждом шагу, достаточно подготовили его к самым необыкновенным рассказам о необузданном, своеобразном народе, так хорошо гармонирующем с диким пейзажем. Но тот же самый уважаемый читатель, очутившись в своей уютной гостиной, окружённый комфортом английского семейного очага, будет не особенно склонён выслушивать рассказы о том, что его предки вели совершенно иной образ жизни, что покачнувшаяся башня, виднеющаяся из его окна, некогда принадлежала барону, который не задумываясь вздёрнул бы его на воротах его собственного дома без всякого суда, что батраки,

работающие в его маленьком поместье, два или три века тому назад были бы его рабами и что неограниченная власть феодальной тирании простиралась на соседнюю деревушку, где сейчас адвокат играет более видную роль, чем землевладелец.

Хоть я и понимаю всю серьёзность этих возражений, однако должен сознаться, что они не кажутся мне решающими. Конечно, недостаток материала — трудно преодолимое препятствие, но кому же, как не д-ру Драйездасту, знать, что для тех, кто умеет хорошо читать и любить нашу старину, мелкие указания на нравы и обычаи наших предков разбросаны повсюду, в различных исторических трудах; конечно, они представляют совсем ничтожный процент по отношению ко всему содержанию этих сочинений, но всё же, собранные вместе, они могут пролить свет на *vie privée*⁵ наших предков. Конечно, сам я могу потерпеть неудачу в предпринятом

⁵ Частная жизнь (франц.).

труде. Однако я убеждён, что более упорные поиски подходящего материала и более удачное использование найденного всегда обеспечат успех способному художнику, как это показывают труды доктора Генри, покойного мистера Стратта, а более всего мистера Шерона Тернера. И потому я заранее протестую против каких бы то ни было общих выводов в случае неудачи настоящего опыта.

Но повторяю: если мне удастся нарисовать правдивую картину старых английских нравов, я хочу надеяться, что добродушие и здравый смысл моих соотечественников обеспечат мне благоприятный приём.

Ответив, насколько было возможно, на Ваши первые возражения или по крайней мере высказав твёрдое намерение преодолеть все трудности, о которых Вы меня предупреждали, я хочу сказать несколько слов о том, что более непосредственно относится к моему произведению. Вы, по-видимому, придерживаетесь мнения, что сама профессия исследователя старины,

занимающегося трудными и, как принято утверждать, кропотливыми и мелочными изысканиями, делает его неспособным создать занимательный рассказ из этого материала. Разрешите мне сказать, дорогой доктор, что это возражение имеет скорее формальный характер, нежели касается существа дела. Конечно, подобные легкомысленные произведения не гармонируют со строгим умонастроением нашего друга мистера Олдбока. Однако Гораций Уолпол сумел написать леденящий кровь рассказ о нечистой силе, а Джорджу Эллису удалось вложить живое очарование юмора, столь же восхитительного, как и своеобразного, в свои переложения древних стихотворений. Так что если мне придётся пожалеть о своей смелости, я могу сослаться в своё оправдание на уважаемых предшественников.

Всё же строгий историк может подумать, что, перемешивая таким образом правду с вымыслом, я засоряю чистые источники истории современными измышлениями и внушаю подрастающему поколению ложное представление о веке,

который описываю. Соглашаясь лишь в незначительной степени с справедливостью этих суждений, я попытаюсь противопоставить им следующие соображения.

Правда, я не могу, да и не пытаюсь, сохранить абсолютную точность даже в вопросе о костюмах, не говоря уже о таких более существенных моментах, как язык и нравы.

Но те же причины, которые не позволяют мне передавать диалоги моего романа на англосакском или франко-норманском языке или предложить его публике напечатанным шрифтом Кэкстона или Винкен де Ворда, мешают мне строго придерживаться рамок того времени, в котором происходит действие.

Для того чтобы пробудить в читателе хоть некоторый интерес, необходимо изложить избранную Вами тему языком и в манере той эпохи, в какую Вы живёте. Ни одно произведение восточной литературы не пользовалось таким успехом, как первый перевод арабских сказок мистером Гэлландом: сохранив дикость восточного вымысла вместе с

пышными восточными костюмами, он ввёл в них простые чувства и естественные поступки героев, что сделало их интересными и понятными для всех; а в то же время он сократил растянутые эпизоды и однообразные рассуждения и отбросил бесконечные повторения арабского оригинала. Конечно, в таком виде рассказы меньше отзываются Востоком, но зато значительно больше соответствуют потребностям европейского рынка; благодаря этому они вызвали такое одобрение, какого никогда бы не заслужили, если бы по своей форме и стилю не были до известной степени приспособлены к чувствам и привычкам западных читателей. Учитывая вкусы толпы, которая, я надеюсь, с жадностью набросится на эту книгу, я постарался в такой мере переложить старые нравы на язык современности и так подробно развить характеры и чувства моих героев, чтобы современный читатель не испытывал никакого утомления от сухого изображения неприкрашенной старины. Но я считаю, что, приспособляясь к этим вкусам, я не превысил здесь прав и полномочий

автора художественного произведения.

Талантливый писатель — покойный мистер Стратт в своём романе «Куинху-холл» действовал по другому принципу: противопоставляя старину современности, он, казалось, совершенно забыл о нравах и чувствах, общих как для наших предков, так и для нас самих — частью полученных нами по наследству, частью же в такой мере общечеловеческих по своей природе, что их существование во все эпохи не подлежит никакому сомнению. Исключив из своей работы всё, что недостаточно старо, чтобы быть чуждым и забытым, этот человек, обладавший огромной эрудицией и талантом, тем самым лишил своё произведение значительной доли общедоступности. Права художника на некоторую вольность в обращении с материалом, которые я отстаиваю, настолько важны для успешного осуществления моего замысла, что я буду умолять Вас терпеливо выслушать мои дальнейшие доказательства.

Тот, кто впервые открывает

сочинения Чосера или какого-нибудь другого старого поэта, до такой степени пугается при виде устарелого правописания бесчисленных согласных и старого языка вообще, что в отчаянии откладывает эту книгу, как слишком загромождённую обломками древних развалин и потому чересчур трудную для понимания её достоинства и восприятия её красот. Но если умный и образованный друг укажет ему, что пугающие его трудности только кажущиеся, если он прочтёт это произведение вслух, если он заменит старинное правописание знакомых слов современным, — он докажет своему ученику, что, быть может, только одна десятая слов в этой книге действительно вышла из употребления. Таким образом, начинающего легко будет уговорить подойти к «источнику чисто английского» с полной уверенностью, что при небольшом терпении он вскоре сможет наслаждаться тем юмором и пафосом, которыми старый Джеффри восхищал век Кресси и Пуатье.

Пойдём дальше. Предположим,

что наш неофит в своём новоявленном увлечении древностью попытается подражать тому, что вызывает его восхищение; он поступит крайне неразумно, если извлечёт из словаря устарелые слова и будет пользоваться ими вместо слов и выражений, употребительных в наши дни. Именно такие ошибки нередко совершал Чаттертон. Стараясь придать своему языку старинный характер, он отбросил всё современные слова и создал наречие, не имевшее ничего общего ни с одним из тех, на которых когда-либо говорили в Великобритании. Тот, кто хочет подражать старинному языку, должен уловить общий характер его грамматических форм, выражений, оборотов, принципов сочетания слов, а отнюдь не изоощряться в выискивании редкостных и устарелых слов. Как я уже говорил, в произведениях старых авторов устаревшие слова встречаются гораздо реже, чем слова, до сих пор употребительные, но взятые с изменённым значением и с иной орфографией. Отношение между ними равно приблизительно одному к

десяти.

Всё, что я говорил о языке, тем более применимо для изображения чувств и нравов. Важнейшие человеческие страсти во всех своих проявлениях, а также и источники, которые их питают, общи для всех сословий, состояний, стран и эпох; отсюда с несомненностью следует, что хотя данное состояние общества влияет на мнения, образ мыслей и поступки людей, эти последние по самому своему существу чрезвычайно сходны между собой. Наши предки отличались от нас, конечно, не более, чем еврей отличается от христианина. «Разве у них нет рук, органов, членов тела, чувств, привязанностей, страстей? Разве не та же самая пища насыщает его, разве не то же оружие ранит его, разве он не подвержен тем же недугам, разве не те же лекарства исцеляют его, разве не согревают и не студят его те же лето и зима, как и христианина?» Поэтому их чувства и страсти по своему характеру и по своей напряжённости приближаются к нашим. И когда автор приступает к роману или другому художественному произведению,

вроде того, какое я решился написать, то оказывается, что материал, которым он располагает, как языковой, так и исторически-бытовой, в такой же мере принадлежит современности, как и эпохе, избранной им для изображения. Это обстоятельство предоставляет автору свободу выбора и облегчает его задачу в большей мере, чем кажется на первый взгляд. Возьмём пример из области смежного искусства. Можно сказать, что в картинах антикварные детали придают ландшафту специфические черты. Феодальный замок должен возвышаться во всём своём величии, художник должен изображать людей в костюмах и позах, свойственных эпохе; местность, которую художник избрал для изображения, должна быть передана со всеми своими особенностями, с возвышающимися утёсами или стремительным падением водопада. Колорит также должен отличаться естественностью. Небо должно быть ясным или облачным, соответственно климату, а краски именно теми, которые преобладают в самой натуре.

В этих пределах законы искусства вынуждают художника строго следовать природе. Но вовсе не обязательно, чтобы он погружался в воспроизведение мельчайших черт оригинала, чтобы он с совершённой точностью изображал траву, цветы и деревья, украшающие местность. Всё это, так же как и детали распределения света и тени, принадлежит любому месту действия, естественно для любой страны и потому может быть подсказано личными вкусами и пристрастиями художника.

Правда, этот произвол всегда строго ограничен. Художник должен избегать всех тех красивых подробностей, которые не соответствуют климатическим или географическим особенностям изображаемого пейзажа: не следует сажать кипарисы на Меррейских островах или шотландские ели среди развалин Персеполиса; такого же рода ограничениям подлежит и писатель. Писатель может себе позволить обрисовать чувства и страсти своих героев гораздо подробнее, чем это имеет место в старинных хрониках,

которым он подражает, но, как бы далеко он тут ни зашёл, он не должен вводить ничего не соответствующего нравам эпохи; его рыцари, лорды, оруженосцы и иомены могут быть изображены более подробно и живо, нежели в сухом и жёстком рассказе старинной иллюстрированной рукописи, но характер и внешнее обличье эпохи должны оставаться неприкосновенными; все эти фигуры должны остаться теми же, но только нарисованными более искусным карандашом или, чтобы быть скромнее, должны соответствовать требованиям эпохи с более развитым пониманием задач искусства. Язык не должен быть сплошь устарелым и неудобным, но он, по возможности, должен избегать оборотов явно новейшего происхождения. Одно дело — вводить в произведение слова и чувства, общие у нас с нашими предками, другое дело — наделять предков речью и чувствами, свойственными исключительно их потомкам.

Именно это, дорогой друг, оказалось самой трудной частью моей задачи; и, откровенно говоря, я почти

не имею надежды Вас удовлетворить; ведь я едва кажусь приемлемым для самого себя, тогда как Ваши суждения гораздо менее пристрастны, а Ваши познания в области истории гораздо обширнее моих. Полагаю, что поведение и внешний облик моих героев заслужат немало упрёков со стороны лиц, расположенных строго разбирать мою повесть, учитывая нравы того времени, когда жили её герои. Возможно, что я ввёл мало таких бытовых черт и поступков, которые можно было бы назвать явно современными; но, с другой стороны, весьма возможно, что я смешал нравы двух или трех столетий и приписал царствованию Ричарда I явления, имевшие место либо гораздо раньше, либо значительно позже изображённого мною времени. Я утешаюсь тем, что ошибки такого рода ускользнут от внимания среднего читателя, и что я смогу разделить незаслуженный успех с теми архитекторами, которые, без всякой системы и правил, не задумываясь вводили в модную готику орнаменты, свойственные различным стилям и различным периодам искусства. Те же

читатели, которым их обширные научные изыскания позволят строго судить мои промахи, проявят известную снисходительность именно в силу своего понимания всей трудности моей задачи. Мой почтенный, но находящийся в пренебрежении друг Ингульфус доставил мне много ценных указаний; но свет, излучаемый Кройдонским монахом и Джефри де Винсау, затемнён таким нагромождением неинтересного и неудобопонятного материала, что я с радостью обратился за помощью к страницам любезного Фруассара, хотя он и процветал в эпоху, весьма отдалённую от описываемых мною событий. Но если, дорогой друг. Вы всё же будете достаточно великодушны, чтобы простить мне самонадеянную попытку сплести себе венок менестреля частью из чистейших жемчужин древности, частью из бристольских подделок, которыми я пытался подменить настоящие, я убеждён, что Ваше понимание трудностей моей задачи примирит Вас с несовершенством её выполнения. О материалах мне остаётся сказать

немного: они все содержатся в одной англо-норманской рукописи; сэр Артур Уордор ревностно хранит её в третьем ящике своего дубового стола; он никому не позволяет к ней прикоснуться, сам же не в силах прочесть из неё ни одного слова. Во время моего пребывания в Шотландии я никогда не получил бы разрешения надолго углубиться в эти драгоценные страницы, если бы не обещал отметить её каким-нибудь необыкновенным шрифтом под именем «рукопись Уордора», выделив её тем самым из всех других и придав ей такую же значительность, какой обладают рукописи Бэннетайн, Окинлек и другие памятники терпения средневековых переписчиков. Я послал Вам для ознакомления оглавление этой любопытной вещи, которое я с Вашего разрешения приложу к третьему тому моего романа, если только дьявол книгопечатания всё ещё не будет удовлетворён после набора всего моего произведения.

Прощайте, дорогой друг, я сказал достаточно для того, чтобы объяснить, если не оправдать, мою

попытку. Несмотря на Ваши сомнения и мою собственную неспособность, я всё ещё хочу надеяться, что эта попытка сделана мною не напрасно. Я надеюсь, что Вы уже оправились после весеннего припадка подагры, и буду счастлив, если Ваши учёные врачи посоветуют Вам поездку в здешние края. Недавно при раскопках возле стен древнего Габитанкума были найдены интересные древности. Кстати, Вы, вероятно, уже знаете, что грубый, неотёсанный невежда уничтожил старинную статую или, вернее, барельеф, известный под названием Робина из Ридесдаля. По-видимому, слава Робина привлекала слишком много посетителей и помешала росту вереска на болоте, стоящем по шилингу за акр. — Достопочтенный сэр, — как Вы себя сами именуете, — будьте раз в жизни мстительны и молитесь вместе со мной, чтобы у этого человека появились камни в печени такой величины, как если бы все обломки бедного Робина скопились у него в этом органе. Не рассказывайте об этом в Гэте, не подавайте шотландцам повода

радоваться тому, что наконец их соседи совершили поступок столь же варварский, как уничтожение Артуровой печи. Но нет конца сетованиям, когда речь заходит о таких вещах. Передайте мой почтительный привет мисс Драйездаст. Во время моего последнего пребывания в Лондоне я пытался подобрать по её поручению очки; надеюсь, что она получила их в сохранности и что они оказались подходящими. Я посылаю это письмо с нарочным, и оно, вероятно, задержится в пути. По последним известиям из Эдинбурга джентльмен, занимающий место секретаря Общества любителей шотландской старины, — лучший в королевстве любитель рисовальщик, и можно многого ожидать от его усердия и искусства в области реставрации образцов национальных памятников, либо разрушаемых медленным действием времени, либо сметённых духом современности при помощи той же разрушительной метлы, какой пользовался Джон Нокс во время реставрации.

Ещё раз прощайте: vale tandem,

pop immemor mei ⁶ . Остаюсь,
достопочтенный сэр, Вашим
покорным слугой.

*Лоренс Темплтон
Топингвуд, близ Эгремонта,
Камберленд, 17 ноября 1817
года.*

Глава I

*Они беседовали той порой,
Когда стада с полей брели домой,
Когда, наевшись, но не присмирив,
Шли свиньи с визгом нехотя в свой
хлев.*

Поп, «Одиссея»

В той живописной местности весёлой Англии, которая орошается рекою Дон, в давние времена простирались обширные леса, покрывавшие большую часть красивейших холмов и долин, лежащих между Шеффилдом и Донкастером. Остатки этих огромных лесов и поныне видны вокруг дворянских замков Уэнтворт, Уорнклиф-парк и близ Ротерхема. По преданию,

⁶ Прощай, но не забывай меня (лат.).

здесь некогда обитал сказочный уонтлейский дракон; здесь происходили ожесточённые битвы во время междоусобных войн Белой и Алой Розы; и здесь же в старину собирались ватаги тех отважных разбойников, подвиги и деяния которых прославлены в народных песнях.

Таково главное место действия нашей повести, по времени же — описываемые в ней события относятся к концу царствования Ричарда I, когда возвращение короля из долгого плена казалось желанным, но уже невозможным событием отчаявшимся подданным, которые подвергались бесконечным притеснениям знати. Феодалы, получившие непомерную власть в царствование Стефана, но вынужденные подчиняться королевской власти благоразумного Генриха II, теперь снова бесчинствовали, как в прежние времена; пренебрегая слабыми попытками английского государственного совета ограничить их произвол, они укрепляли свои замки, увеличивали число вассалов, принуждали к повиновению и вассальной зависимости всю округу; каждый феодал стремился собрать и возглавить такое войско, которое дало бы ему возможность стать влиятельным лицом в приближающихся государственных потрясениях.

Чрезвычайно непрочным стало в ту пору положение мелкопоместных дворян, или, как их

тогда называли, Франклинов, которые, согласно букве и духу английских законов, должны были бы сохранять свою независимость от тирании крупных феодалов. Франклины могли обеспечить себе на некоторое время спокойное существование, если они, как это большей частью и случалось, прибегали к покровительству одного из влиятельных вельмож их окружи, или входили в его свиту, или же обязывались по соглашениям о взаимной помощи и защите поддерживать феодала в его военных предприятиях; но в этом случае они должны были жертвовать своей свободой, которая так дорога сердцу каждого истого англичанина, и подвергались опасности оказаться вовлечёнными в любую опрометчивую затею их честолюбивого покровителя. С другой стороны, знатные бароны, располагавшие могущественными и разнообразными средствами притеснения и угнетения, всегда находили предлог для того, чтобы травить, преследовать и довести до полного разорения любого из своих менее сильных соседей, который попытался бы не признать их власти и жить самостоятельно, думая, что его безопасность обеспечена лояльностью и строгим подчинением законам страны.

Завоевание Англии норманским герцогом Вильгельмом значительно усилило тиранию феодалов и углубило страдания низших сословий.

Четыре поколения не смогли смешать воедино враждебную кровь норманнов и англосаксов или примирить общностью языка и взаимными интересами ненавидящие друг друга народности, из которых одна всё ещё упивалась победой, а другая страдала от последствий своего поражения. После битвы при Гастингсе власть полностью перешла в руки норманских дворян, которые отнюдь не отличались умеренностью. Почти все без исключения саксонские принцы и саксонская знать были либо истреблены, либо лишены своих владений; невелико было и число мелких саксонских собственников, за которыми сохранились земли их отцов. Короли непрестанно стремились законными и противозаконными мерами ослабить ту часть населения, которая испытывала врождённую ненависть к завоевателям. Все монархи норманского происхождения оказывали явное предпочтение своим соплеменникам; охотничьи законы и другие предписания, отсутствовавшие в более мягком и более либеральном саксонском уложении, легли на плечи побеждённых, ещё увеличивая тяжесть и без того непосильного феодального гнёта.

При дворе и в замках знатнейших вельмож, старавшихся ввести у себя великолепие придворного обихода, говорили исключительно по-нормано-французски; на том же языке велось

судопроизводство во всех местах, где отправлялось правосудие. Словом, французский язык был языком знати, рыцарства и даже правосудия, тогда как несравненно более мужественная и выразительная англосаксонская речь была предоставлена крестьянам и дворовым людям, не знавшим иного языка.

Однако необходимость общения между землевладельцами и порабощённым народом, который обрабатывал их землю, послужила основанием для постепенного образования наречия из смеси французского языка с англосаксонским, говоря на котором, они могли понимать друг друга. Так мало-помалу возник английский язык настоящего времени, заключающий в себе счастливое смешение языка победителей с наречием побеждённых и с тех пор столь обогатившийся заимствованиями из классических и так называемых южноевропейских языков.

Я счёл необходимым сообщить читателю эти сведения, чтобы напомнить ему, что хотя история англосаксонского народа после царствования Вильгельма II не отмечена никакими значительными событиями вроде войн или мятежей, всё же раны, нанесённые завоеванием, не заживали вплоть до царствования Эдуарда III. Велики национальные различия между англосаксами и их победителями; воспоминания о

прошлом и мысли о настоящем бередили эти раны и способствовали сохранению границы, разделяющей потомков победоносных норманнов и побеждённых саксов.

Солнце садилось за одной из покрытых густой травой просек леса, о котором уже говорилось в начале этой главы. Сотни развесистых, с невысокими стволами и широко раскинутыми ветвями дубов, которые, быть может, были свидетелями величественного похода древнеримского войска, простирали свои узловатые руки над мягким ковром великолепного зелёного дёрна. Местами к дубам примешивались бук, остролист и подлесок из разнообразных кустарников, разросшихся так густо, что они не пропускали низких лучей заходящего солнца; местами же деревья расступались, образуя длинные, убегающие вдаль аллеи, в глубине которых теряется восхищённый взгляд, а воображение создаёт ещё более дикие картины векового леса. Пурпурные лучи заходящего солнца, пробиваясь сквозь листву, отбрасывали то рассеянный и дрожащий свет на поломанные сучья и мшистые стволы, то яркими и сверкающими пятнами ложились на дёрн. Большая поляна посреди этой просеки, вероятно, была местом, где друиды совершали свои обряды. Здесь возвышался холм такой правильной формы, что казался

насыпанным человеческими руками; на вершине сохранился неполный круг из огромных необделанных камней. Семь из них стояли стоямя, остальные были свалены руками какого-нибудь усердного приверженца христианства и лежали частью поблизости от прежнего места, частью — по склону холма. Только один огромный камень скатился до самого низа холма, преградив течение небольшого ручья, пробивавшегося у подножия холма, — он заставлял чуть слышно рокотать его мирные и тихие струи.

Два человека оживляли эту картину; они принадлежали, судя по их одежде и внешности, к числу простолюдинов, населявших в те далёкие времена лесной район западного Йоркшира. Старший из них был человек угрюмый и на вид свирепый. Одежда его состояла из одной кожаной куртки, сшитой из дублёной шкуры какого-то зверя, мехом вверх; от времени мех так вытерся, что по немногим оставшимся клочкам невозможно было определить, какому животному он принадлежал. Это первобытное одеяние покрывало своего хозяина от шеи до колен и заменяло ему все части обычной одежды. Ворот был так широк, что куртка надевалась через голову, как наши рубашки или старинная кольчуга. Чтобы куртка плотнее прилегала к телу, её перетягивал широкий кожаный пояс с медной застёжкой. К поясу была привешена

с одной стороны сумка, с другой — бараний рог с дудочкой. За поясом торчал длинный широкий нож с роговой рукояткой; такие ножи выделялись тут же, по соседству, и были известны уже тогда под названием шеффилдских. На ногах у этого человека были башмаки, похожие на сандалии, с ремнями из медвежьей кожи, а более тонкие и узкие ремни обвивали икры, оставляя колени обнажёнными, как принято у шотландцев. Голова его была ничем не защищена, кроме густых спутанных волос, выцветших от солнца и принявших тёмно-рыжий, ржавый оттенок и резко отличавшихся от светло-русой, скорей даже янтарного цвета, большой бороды. Нам остаётся только отметить одну очень любопытную особенность в его внешности, но она так примечательна, что нельзя пропустить её без внимания: это было медное кольцо вроде собачьего ошейника, наглухо запаянное на его шее. Оно было достаточно широко для того, чтобы не мешать дыханию, но в то же время настолько узко, что снять его было невозможно, только распилив пополам. На этом своеобразном воротнике было начертано саксонскими буквами:

«Гурт, сын Беовульфа, прирождённый раб Седрика Ротервудского».

Возле свинопаса (ибо таково было занятие Гурта) на одном из поваленных камней друидов

сидел человек, который выглядел лет на десять моложе первого. Наряд его напоминал одежду свинопаса, но отличался некоторой причудливостью и был сшит из лучшего материала. Его куртка была выкрашена в ярко-пурпурный цвет, а на ней намалёваны какие-то пёстрые и безобразные узоры. Поверх куртки был накинута непомерно широкий и очень короткий плащ из малинового сукна, изрядно перепачканного, отороченный ярко-жёлтой каймой. Его можно было свободно перекинуть с одного плеча на другое или совсем завернуться в него, и тогда он падал причудливыми складками, драпируя его фигуру. На руках у этого человека были серебряные браслеты, а на шее — серебряный ошейник с надписью: «Вамба, сын Безмозглого, раб Седрика Ротервудского». Он носил такие же башмаки, что и его товарищ, но ремённую плетёнку заменяло нечто вроде гетр, из которых одна была красная, а другая жёлтая. К его шапке были прикреплены колокольчики величиной не более тех, которые подвязывают охотничьим соколам; каждый раз, когда он поворачивал голову, они звенели, а так как он почти ни одной минуты не оставался в покое, то звенели они почти непрерывно. Твёрдый кожаный околыш этой шапки был вырезан по верхнему краю зубцами и сквозным узором, что придавало ему сходство с короной пэра; изнутри к околышу был

пришит длинный мешок, кончик которого свешивался на одно плечо, подобно старомодному ночному колпаку, треугольному ситу или головному убору современного гусара. По шапке с колокольчиками, да и самой форме её, а также по придурковатому и в то же время хитрому выражению лица Вамбы можно было догадаться, что он один из тех домашних клоунов или шутов, которых богатые люди держали для потехи в своих домах, чтобы как-нибудь скоротать время» по необходимости проводимое в четырех стенах.

Подобно своему товарищу, он носил на поясе сумку, но ни рога, ни ножа у него не было, так как предполагалось, вероятно, что он принадлежит к тому разряду человеческих существ, которым опасно давать в руки колющее или режущее оружие. Взамен всего этого у него была деревянная шпага наподобие той, которой арлекин на современной сцене производит свои фокусы.



Выражение лица и поведение этих людей было не менее различно, чем их одежда. Лицо раба или крепостного было угрюмо и печально; судя по его унылому виду, можно было подумать, что его мрачность делает его ко всему равнодушным, но огонь, иногда загоравшийся в его глазах, говорил о таившемся в нём сознании своей угнетённости и о стремлении к сопротивлению. Наружность Вамбы, напротив того, обличала присущее людям этого

рода рассеянное любопытство, крайнюю непоседливость и подвижность, а также полное довольство своим положением и своей внешностью. Они вели беседу на англосаксонском наречии, на котором, как уже говорилось раньше, в ту пору изъяснялись в Англии все низшие сословия, за исключением норманских воинов и ближайшей свиты феодальных владык. Однако приводить их разговор в оригинале было бы бесполезно для читателя, незнакомого с этим диалектом, а потому мы позволим себе привести его в дословном переводе.

— Святой Витольд, прокляни ты этих чёртовых свиней! — проворчал свинопас после тщетных попыток собрать разбежавшееся стадо пронзительными звуками рога. Свиньи отвечали на его призыв не менее мелодичным хрюканьем, однако нисколько не спешили расстаться с роскошным угощением из буковых орехов и желудей или покинуть топкие берега ручья, где часть стада, зарывшись в грязь, лежала врастающую не обращая внимания на окрики своего пастуха.

— Разрази их, святой Витольд! Будь я проклят, если к ночи двуногий волк не задерёт двух-трех свиней». Сюда, Фанге! Эй, Фанге! — закричал он во весь голос мохнатой собаке, не то догу, не то борзой, не то помеси борзой с шотландской овчаркой. Собака, прихрамывая,

бегала кругом и, казалось, хотела помочь своему хозяину собрать непокорное стадо.

Но то ли не понимая знаков, подаваемых свинопасом, то ли забыв о своих обязанностях, то ли по злему умыслу, пёс разгонял свиней в разные стороны, тем самым увеличивая беду, которую он как будто намеревался исправить.

— А, чтоб тебе чёрт вышиб зубы! — ворчал Гурт. — Провалиться бы этому лесничему. Стрижёт когти нашим собакам, а после они никуда не годятся. Будь другом, Вамба, помоги. Зайди с той стороны холма и пугни их оттуда. За ветром они сами пойдут домой, как ягнята.

— Послушай, — сказал Вамба, не трогаясь с места. — Я уже успел посоветоваться по этому поводу со своими ногами: они решили, что таскать мой красивый наряд по трясине было бы с их стороны враждебным актом против моей царственной особы и королевского одеяния. А потому, Гурт, вот что я скажу тебе: покличь-ка Фангса, а стадо предоставь его судьбе. Не всё ли равно, повстречаются ли твои свиньи с отрядом солдат, или с шайкой разбойников, или со странствующими богомольцами! Ведь к утру свиньи всё равно превратятся в норманнов, и притом к твоему же собственному удовольствию и облегчению.

— Как же так — свиньи, к моему

удовольствию и облегчению, превратятся в норманнов? — спросил Гурт. — Ну-ка, объясни. Голова у меня тупая, а на уме одна досада и злость. Мне не до загадок.

— Ну, как называются эти хрюкающие твари на четырех ногах? — спросил Вамба.

— Свиньи, дурак, свиньи, — отвечал пастух. — Это всякому дураку известно.

— Правильно, «суайн» — саксонское слово. А вот как ты назовёшь свинью, когда она зарезана, ободрана, и рассечена на части, и повешена за ноги, как изменник?

— Порк, — отвечал свинопас.

— Очень рад, что и это известно всякому дураку, — заметил Вамба. — А «порк», кажется, нормано-французское слово. Значит, пока свинья жива и за ней смотрит саксонский раб, то зовут её по-саксонски; но она становится норманном и её называют «порк», как только она попадает в господский замок и является на пир знатных особ. Что ты об этом думаешь, друг мой Гурт?

— Что правда, то правда, друг Вамба. Не знаю только, как эта правда попала в твою дурацкую башку.

— А ты послушай, что я тебе скажу ещё, — продолжал Вамба в том же духе. — Вот, например, старый наш олдермен бык: покуда его пасут такие рабы, как ты, он носит свою саксонскую кличку

«оке», когда же он оказывается перед знатным господином, чтобы тот его отведал, бык становится пылким и любезным французским рыцарем Биф. Таким же образом и телёнок — «каф» — делается мосье де Во: пока за ним нужно присматривать — он сакс, но когда он нужен для наслаждения — ему дают норманское имя.

— Клянусь святым Дунстаном, — отвечал Гурт, — ты говоришь правду, хоть она и горькая. Нам остался только воздух, чтобы дышать, да и его не отняли только потому, что иначе мы не выполнили бы работу, наваленную на наши плечи. Что повкусней да пожирнее, то к их столу; женщин покрасивее — на их ложе; лучшие и храбрейшие из нас должны служить в войсках под началом чужеземцев и устилать своими костями дальние страны, а здесь мало кто остаётся, да и у тех нет ни сил, ни желания защищать несчастных саксов. Дай бог здоровья нашему хозяину Седрику за то, что он постоял за нас, как подобает мужественному воину; только вот на днях прибудет в нашу сторону Реджинальд Фрон де Беф, тогда и увидим, чего стоят все хлопоты Седрика... Сюда, сюда! — крикнул он вдруг, снова возвышая голос. — Вот так, хорошенько их. Фанге! Молодец, всех собрал в кучу.

— Гурт, — сказал шут, — по всему видно, что ты считаешь меня дураком, иначе ты не стал бы

совать голову в мою глотку. Ведь стоит мне намекнуть Реджинальду Фрон де Бефу или Филиппу де Мальвуазену, что ты ругаешь норманнов, вмиг тебя вздёрнут на одно из этих деревьев. Вот и будешь качаться для острастки всем, кто вздумает поносить знатных господ.

— Пёс! Неужели ты способен меня выдать? Сам же ты вызвал меня на такие слова! — воскликнул Гурт.

— Выдать тебя? Нет, — сказал шут, — так поступают умные люди, где уж мне, дураку... Но тише... Кто это к нам едет? — прервал он сам себя, прислушиваясь к конскому топоту, который раздавался уже довольно явственно.

— А тебе не всё равно, кто там едет? — спросил Гурт, успевший тем временем собрать всё своё стадо и гнавший его вдоль одной из сумрачных просек.

— Нет, я должен увидеть этих всадников, — отвечал Вамба. — Может быть, они едут из волшебного царства с поручением от короля Обсрона...

— Замолчи! — перебил его свинопас. — Охота тебе говорить об этом, когда тут под боком страшная гроза с громом и молнией. Послушай, какие раскаты. А дождь-то! Я в жизни не видывал летом таких крупных и отвесных капель. Посмотри, ветра нет, а дубы трещат и стонут, как в бурю.

Помолчи-ка лучше, да поспешим домой, прежде чем налетит гроза! Ночь будет страшной.

Вамба, по-видимому, постиг всю силу этих доводов и последовал за своим товарищем, который взял длинный посох, лежавший возле него на траве, и пустился в путь. Этот новейший Эвмей торопливо шёл к опушке леса, подгоняя с помощью Фангса пронзительно хрюкающее стадо.

Глава II

*Монах был монастырский ревизор,
Наездник страстный, он любил
охоту*

*И богомолье — только не работу,
И хоть таких аббатов и корят,
Но превосходный был бы он аббат:
Его конюшню вся округа знала,
Его уздечка пряжками бренчала,
Как колокольчики часовни той,
Доход с которой тратил он, как
свой.⁷*

Чосер

Конский топот всё приближался, и, несмотря на увещевания и брань своего спутника, Вамба,

⁷ Перевод И. Кашкина.

которому не терпелось поскорее увидеть всадников, то и дело останавливался под разными предлогами: то рвал с высокого куста незрелые орехи, то заглядывался под проходившую мимо деревенскую девицу, и поэтому всадники довольно скоро настигли их.

Кавалькада состояла из десяти человек; двое, ехавшие впереди, были, по-видимому, важные особы, а остальные — их слуги. Сословие и звание одной из этих особ нетрудно было установить: это было, несомненно, духовное лицо высокого ранга. На нём была одежда монахафранцисканца, сшитая из прекрасной материи, что противоречило уставу этого ордена; плащ с капюшоном из самого лучшего фламандского сукна, ниспадая красивыми широкими складками, облекал его статную, хотя и немного полную фигуру.

Его лицо так же мало говорило о смирении, как и одежда — о презрении к мирской роскоши. Черты его лица были бы приятны, если бы глаза не блестели из-под нависших век тем лукавым эпикурейским огоньком, который изобличает осторожного сластолюбца. Впрочем, его профессия и положение приучили его так владеть собой, что при желании он мог придать своему лицу торжественность, хотя от природы оно выражало благодущие и снисходительность. Вопреки монастырскому уставу, равно как и эдиктам пап и

церковных соборов, одежда его была роскошна: рукава плаща у этого церковного сановника были подбиты и оторочены дорогим мехом, а мантия застёгивалась золотой пряжкой, и вся орденская одежда была столь изысканна и нарядна, как в наши дни платья красавиц квакерской секты: они сохраняют положенные им фасоны и цвета, но выбором материалов и их сочетанием умеют придать своему туалету кокетливость, свойственную светскому тщеславию.

почтенный прелат ехал верхом на сытом, шедшем иноходью муле, сбруя которого была богато украшена, а уздечка, по тогдашней моде, увешана серебряными колокольчиками. В посадке прелата не было заметно монашеской неуклюжести — напротив, она отличалась грацией и уверенностью хорошего наездника. Казалось, что как ни приятна была спокойная иноходь мула, как ни роскошно его убранство, всё же щеголеватый монах пользовался таким скромным средством передвижения только для переездов по большой дороге. Один из служителей-мирян, составлявших его свиту, вёл в поводу превосходного испанского жеребца, на котором монах выезжал в торжественных случаях. В те времена купцы с величайшим для себя риском и бесконечными затруднениями вывозили из Андалузии таких лошадей, бывших в моде у богатых и знатных

вельмож. Седло и сбруя на этом великолепном коне были покрыты длинной попоной, спускавшейся почти до самой земли и расшитой изображениями крестов и иных церковных эмблем. Другой служитель вёл в поводу вьючного мула, нагруженного, вероятно, поклажей настоятеля; двое монахов того же ордена, но низших степеней, ехали позади всех, пересмеиваясь, оживлённо разговаривая и не обращая никакого внимания на остальных всадников.

Спутником духовной особы был человек высокого роста, старше сорока лет, худощавый, сильный и мускулистый. Его атлетическая фигура вследствие постоянных упражнений, казалось, состояла из одних костей, мускуле» и сухожилий; видно было, что он перенёс множество тяжёлых испытаний и готов перенести ещё столько же. На нём была красная шапка с меховой опушкой из тех, что французы зовут *mortier* за сходство её формы со ступкой, перевёрнутой вверх дном. На лице его ясно выражалось желание вызвать в каждом встречном чувство боязливого почтения и страха. Очень выразительное, нервное лицо его с крупными и резкими чертами, загоревшее под лучами тропического солнца до негритянской черноты, в спокойные минуты казалось как бы задремавшим после взрыва бурных страстей, но надувшиеся жилы на лбу и подёргивание верхней губы

показывали, что буря каждую минуту может снова разразиться. Во взгляде его смелых, тёмных, проницательных глаз можно было прочесть целую историю об испытанных и преодолённых опасностях. У него был такой вид, точно ему хотелось вызвать сопротивление своим желаниям — только для того, чтобы смести противника с дороги, проявив свою волю и мужество. Глубокий шрам над бровями придавал ещё большую суровость его лицу и зловещее выражение одному глазу, который был слегка задет тем же ударом и немного косил.

Этот всадник, так же как и его спутник, был одет в длинный монашеский плащ, но красный цвет этого плаща показывал, что всадник не принадлежит ни к одному из четырех главных монашеских орденов. На правом плече был нашит белый суконный крест особой формы. Под плащом виднелась несовместимая с монашеским саном кольчуга с рукавами и перчатками из мелких металлических колец; она была сделана чрезвычайно искусно и так же плотно и упруго прилегалась к телу, как наши фуфайки, связанные из мягкой шерсти. Насколько позволяли видеть складки плаща, его бёдра защищала такая же кольчуга; колени были покрыты тонкими стальными пластинками, а икры — металлическими кольчужными чулками. За поясом был заткнут

большой обоюдоострый кинжал — единственное бывшее при нём оружие.

Ехал он верхом на крепкой дорожной лошади, очевидно для того, чтобы поберечь силы своего благородного боевого коня, которого один из оруженосцев вёл позади. На коне было полное боевое вооружение; с одной стороны седла висел короткий бердыш с богатой дамасской насечкой, с другой — украшенный перьями шлем хозяина, его колпак из кольчуги и длинный обоюдоострый меч. Другой оруженосец вёз, подняв вверх, копьё своего хозяина; на острие копья развевался небольшой флаг с изображением такого же креста, какой был нашит на плаще. Тот же оруженосец держал небольшой треугольный щит, широкий сверху, чтобы прикрывать всю грудь, а книзу заострённый. Щит был в чехле из красного сукна, а поэтому нельзя было увидеть начертанный на нём девиз.

Вслед за этими двумя оруженосцами ехали ещё двое слуг; тёмные лица, белые тюрбаны и особый покррой одежды изобличали в них уроженцев Востока. Вообще в наружности этого воина и его свиты было что-то дикое и чужеземное. Одежда его оруженосцев блистала роскошью, восточные слуги носили серебряные обручи на шеях и браслеты на полуобнажённых смуглых руках и ногах. Их одежда из шёлка, расшитая узорами, указывала на знатность и богатство их

господина и составляла в то же время резкий контраст с простотой его собственной военной одежды. Они были вооружены кривыми саблями с золотой насечкой на рукоятках и ножнах и турецкими кинжалами ещё более тонкой работы. У каждого торчал при седле пучок дротиков фута в четыре длину, с острыми стальными наконечниками. Этот род оружия был в большом употреблении у сарацин и поныне ещё находит себе применение в военной игре, любимой восточными народами и называемой «эль-джерид». Лошади, на которых ехали слуги, были арабской породы; сухощавые, лёгкие, с упругим шагом, тонкогривые, они ничем не напоминали тех тяжёлых и крупных жеребцов, которых разводили в Нормандии и Фландрии для воинов в полном боевом вооружении. Рядом с этим громадными животными арабские лошади казались изящной, лёгкой тенью.

— Необычный вид этой кавалькады возбудил любопытство не только Вамбы, но и его менее легкомысленного товарища. В монахе он тотчас узнал приора аббатства Жорво, известного по всей округе за большого любителя охоты, весёлых пирушек, а также, если верить молве, и других мирских утех, ещё менее совместимых с монашескими обетами.

Но в те времена не слишком строго относились к поведению монахов и священников,

так что приор Эймер пользовался доброй славой среди соседей своего аббатства. Его весёлый и вольный нрав и постоянная готовность даровать отпущение мелких прегрешений делали его любимцем всех местных дворян, титулованных и нетитулованных, со многими из которых он был в родстве, так как принадлежал к именитой норманской фамилии. Дамы в особенности были расположены относиться без излишней суровости к поведению человека, который не только являлся неизменным поклонником прекрасного пола, но и отличался умением прогонять смертельную скуку, слишком часто одолевавшую их в старинных покоях феодальных замков. Настоятель с азартом увлекался охотой, у него были лучшие соколы и борзые во всей северной округе, этим видом спорта он завоевал симпатии дворянской молодёжи; с людьми почтенного возраста он разыгрывал другую роль, что отлично ему удавалось, когда это было нужно. Его поверхностная начитанность была достаточно велика, чтобы внушать окружающим невеждам почтение к его учёности, а важная осанка и возвышенные рассуждения об авторитете церкви и духовенства поддерживали мнение о его святости. Даже простой народ, который всех строже судит поведение высших сословий, относился снисходительно к легкомыслию приора Эймера. Дело в том, что Эймер был очень щедр, а за

милосердие, как известно, отпускается множество грехов. Большая часть монастырских доходов находилась в его полном распоряжении. Это давало ему возможность не только много тратить на свои прихоти, но и оказывать щедрую помощь соседним крестьянам. Если и случалось приору Эймеру с излишней пылкостью скакать на охоте или чересчур засиживаться на пиру, если кому-нибудь приходилось видеть, как на рассвете он пробирается через боковую калитку в стене своего аббатства, возвращаясь домой после свидания, продолжавшегося целую ночь, люди только пожимали плечами и примирялись с такими проступками настоятеля, вспоминая, что точно так же грешили и многие из его собратий, не искупая своих грехов теми качествами, какими отличался этот монах. Словом, приор Эймер был очень хорошо известен и нашим саксам. Они неуклюже поклонились ему и получили его благословение: «Benedicite, mes filz».⁸

Но диковинная внешность спутника Эймера и его свиты поразила воображение свинопаса и Вамбы так, что они не слышали вопроса настоятеля, когда он осведомился, не знают ли они, где можно

⁸ Священнослужитель не платит десятину священнослужителю (лат.).

было бы остановиться на ночлег. Особенно удивила их полумонашеская-полувоенная одежда загорелого иностранца и странный наряд и невиданное вооружение его восточных слуг. Очень вероятно также, что для слуха саксонских крестьян неприятен был язык, на котором было им преподано благословение и задан вопрос, хотя они и понимали, что это значит.

— Я вас спрашиваю, дети мои, — повторил настоятель, возвысив голос и перейдя на тот диалект, на котором объяснялись между собой норманны и саксы, — нет ли по соседству доброго человека, который из любви к богу и по усердию к святой нашей матери-церкви оказал бы на нынешнюю ночь гостеприимство и подкрепил бы силы двух смиреннейших её служителей и их спутников? — Несмотря на внешнюю скромность этих слов, он произнёс их с большой важностью.

«Двое смиреннейших служителей матери-церкви! Хотел бы я поглядеть, какие же у неё бывают дворецкие, кравчие и иные старшие слуги», — подумал про себя Вамба, однако же, хотя и слыл дураком, остерёгся произнести свою мысль вслух.

Сделав мысленно такое примечание к речи приора, он поднял глаза и ответил:

— Если преподобным отцам угодны сытные трапезы и мягкие постели, то в нескольких милях

отсюда находится Бринксвортское аббатство, где им, по их сану, окажут самый почётный приём; если же они предпочтут провести вечер в покаянии, то вон та лесная тропинка доведёт их прямёхонько до пустынной хижины в урочище Копменхерст, где благочестивый отшельник приютит их под своей крышей и разделит с ними вечерние молитвы.

Но приор отрицательно покачал головой, выслушав оба предложения.

— Мой добрый друг, — сказал он, — если бы звон твоих бубенчиков не помутил твоего разума, ты бы знал, что *Clericus clericum non decimal*⁹, то есть у нас, духовных лиц, не принято просить гостеприимства друг у друга, и мы обращаемся за этим к мирянам, чтобы дать им лишний случай послужить богу, оказывая, помощь его служителям.

— Я всего лишь осёл, — отвечал Вамба, — и даже имею честь носить такие же колокольчики, как и мул вашего преподобия. Однако мне казалось, что доброта матери-церкви и её служителей проявляется, как и у всех прочих людей, прежде всего к своей семье.

— Перестань грубить, нахал! — крикнул вооружённый всадник, сурово перебивая болтовню

9 Священнослужитель не платит десятину священнослужителю (лат.).

шута. — И укажи нам, если знаешь, дорогу к замку... Как вы назвали этого франклина, приор Эймер?

— Седрик, — отвечал приор, — Седрик Сакс... Скажи мне, приятель, далеко ли мы от его жилья и можешь ли ты показать нам дорогу?

— Найти дорогу будет трудно, — отвечал Гурт, в первый раз вступая в беседу. — Притом у Седрика в доме рано ложатся спать.

— Ну, не мели пустяков! — сказал воин. — Могут и встать, чтобы принять таких путников, как мы. Нам не пристало унижаться и просить гостеприимства там, где мы вправе его требовать.

— Уж не знаю, — угрюмо сказал Гурт, — хорошо ли я сделаю, если укажу дорогу к дому моего господина таким людям, которые хотят требовать то, что другие рады получить из милости.

— Ты вздумал ещё спорить со мной, раб! — воскликнул воин.

С этими словами он пришпорил свою лошадь, заставил её круто повернуть и поднял хлыст, собираясь наказать дерзкого простолюдина.

Гурт метнул на него злобный и мстительный взгляд и с угрозой, хотя и нерешительно, схватился за нож; но в ту же минуту приор Эймер двинул своего мула вперёд и, встав между воином и свинопасом, предупредил опасное столкновение.

— Нет, именем святой Марии прошу вас, брат

Бриан, помнить, что вы теперь не в Палестине, где владычествовали над турецкими язычниками и неверными сарацинами; здесь, на нашем острове, мы не любим ударов и принимаем их только от святой церкви, которая карает любя... Скажи мне, добрый человек, — продолжал он, обращаясь к Вамбе и подкрепляя свою речь небольшой серебряной монетой, — как проехать к Седрику Саксу. Ты должен знать туда дорогу и обязан указать её любому путнику, а тем более духовным лицам вроде нас.

— Право же, честной отец, — отвечал шут, — сарацинская голова вашего преподобного брата до того перепугала мою, что я позабыл дорогу домой... Не знаю даже, попаду ли и сам туда сегодня...

— Вздор! — сказал настоятель. — Коли захочешь, так вспомнишь. Этот преподобный собрат мой всю жизнь сражался с сарацинами за обладание гробом господним. Он принадлежит к ордену рыцарей Храма, о которых ты, может быть, слышал: он наполовину монах, наполовину воин.

— Если он хоть наполовину монах, — сказал шут, — то ему не пристало так неразумно обращаться с прохожими, если они замедлят с ответом на вопросы, до которых им нет дела.

— Ну, я прощаю тебя с тем условием, что ты покажешь мне дорогу к дому Седрика, — сказал

аббат.

— Ладно, — отвечал Вамба. — Извольте, ваше преподобие, ехать по этой тропинке до того места, где увидите вросший в землю крест; от него едва одна верхушка виднеется, да и то не больше как на локоть вышиной. От этого креста в разные стороны идут четыре дороги. Но вы поверните влево, и надеюсь, что ваше преподобие достигнет ночлега прежде, чем разразится гроза.

Аббат поблагодарил мудрого советчика, и вся кавалькада, пришпорив коней, поскакала с той быстротой, с какой люди спешат достигнуть ночлега, спасаясь от ночной бури.

Когда топот копыт замер в отдалении, Гурт сказал своему товарищу:

— Если преподобные отцы последуют твоему умному совету, вряд ли они доедут сегодня до Ротервуда.

— Да, — сказал шут ухмыляясь, — но зато они могут доехать до Шеффилда, коли им посчастливится, а для них и то хорошо. Не такой уж я плохой лесничий, чтоб указывать собакам, где залегла дичь, если не хочу, чтобы они её задрали.

— Это ты хорошо сделал, — сказал Гурт. — Плохо будет, если Эймер увидит леди Ровену, а ещё хуже, пожалуй, если Седрик поссорится с этим монахом, что легко может случиться. А мы с тобой — добрые слуги: будем только смотреть да слушать

и помалкивать.

Возвратимся к обоим всадникам, которые вскоре оставили рабов Седрика далеко позади и вели беседу на нормано-французском языке, как и все тогдашние особы высшего сословия, за исключением тех немногих, которые ещё гордились своим саксонским происхождением.

— Чего хотели эти наглецы, — спросил рыцарь Храма у аббата, — и почему вы не позволили мне наказать их?

— Но, брат Бриан, — отвечал приор, — один из них совсем дурак, и странно было бы требовать у него ответа за его глупости; что же касается другого грубияна, то он из породы тех неукротимых, свирепых дикарей, которые, как я вам не раз говорил, всё ещё встречаются среди потомков покорённых саксов: для них нет большего удовольствия, чем показывать при каждом удобном случае свою ненависть к победителям.

— Ну, вежливость я бы живо в них вколотил! — ответил храмовник. — С подобными людьми я умею обращаться. Наши турецкие пленные в своей неукротимой ярости кажутся страшнее самого Одина; однако, пробыв два месяца у меня в доме под руководством моего смотрителя за невольниками, они становились смиренными, послушными, услужливыми и даже раболепными. Правда, сэр, с ними приходится постоянно

остерегаться яда и кинжала, потому что они при каждом удобном случае охотно пускают в ход и то и другое.

— Но ведь у всякого народа свои обычаи и нравы, — возразил приор Эймер. — Прибей вы этого малого, мы так и не узнали бы дороги к дому Седрика; кроме того, если бы нам самим и удалось добраться туда, то Седрик непременно затеял бы с вами ссору из-за побоев, нанесённых его рабам. Помните, что я вам говорил: этот богатый франклин горд, вспыльчив, ревнив и раздражителен, он настроен против нашего дворянства и в ссоре даже со своими соседями — Реджинальдом Фрон де Бефом и Филиппом Мальвуазеном, которые шутить не любят. Он так крепко держится за права своего рода и так гордится тем, что происходит по прямой линии от Херварда, одного из знаменитых поборников семицарствия, что его не называют иначе, как Седрик Сакс. Он похваляется своим кровным родством с тем самым народом, от которого многие из его соплеменников охотно отрекаются, чтобы избегнуть — *vae victis*¹⁰ — бедствий, выпадающих на долю побеждённого.

— Приор Эймер, — сказал храмовник, — вы большой любезник, знаток женской красоты и не

¹⁰ Горе побеждённому (лат.).

хуже трубадуров знакомы со всем, что касается уставов любви; но эта хвалёная Ровена должна быть поистине чудом красоты, чтобы вознаградить меня за снисходительность и терпение, которые мне придётся проявить, чтобы снискать расположение такого мужлана и мятежника, каков, по вашим словам, её отец Седрик.

— Седрик ей не отец, а только дальний родственник, — сказал аббат.

— Она происходит из более знатного рода, чем он. Он сам напросился ей в опекуны и привязан к ней так, что и собственная дочь не была бы ему дороже. О красоте её вы в скором времени сможете судить сами. И пусть я буду еретиком, а не истинным сыном церкви, если белизна её лица и величественное и вместе кроткое выражение голубых глаз не изгонят из вашей памяти черноволосых дев Палестины или гурий мусульманского рая.

— Ну, а если ваша прославленная красавица, — сказал храмовник, — окажется не так хороша, вы помните ваш заклад?

— Моя золотая цепь, — отвечал аббат, — а ваш заклад — десять бочек хиосского вина. Я могу считать их своими, словно они уже стоят в монастырском подвале под ключом у старого Дениса, моего келаря.

— Но вы предоставляете мне самому решение

спора, — сказал рыцарь Храма, — и я проиграю только в том случае, если сознаюсь, что с троицына дня прошедшего года не видывал такой красивой девицы. Так ведь мы с вами уговорились? Ну, приор, прощайтесь со своей золотой цепью. Я надену её поверх своего нагрудника на ристалище в Ашби де ля Зуш.

— Если выиграте честно, то и носите когда вам заблагорассудится, — сказал приор. — Я поверю вам на слово, как рыцарю и церковнику. А всё-таки, брат, примите мой совет и будьте повежливей: ведь вам придётся иметь дело не с пленными язычниками или восточными рабами. Седрик Сакс такой человек, что если сочтёт себя оскорблённым — а он очень чувствителен к оскорблениям, — то не обратит внимания на ваше рыцарство, и моё высокое положение, и на наш священный сан и выгонит нас ночевать под открытое небо, хотя бы на дворе стояла полночь. И, кроме того, остерегайтесь слишком пристально смотреть на Ровену: он охраняет её чрезвычайно ревниво. Если мы дадим ему малейший повод к опасениям с этой стороны, мы с вами пропали. Говорят, что он изгнал из дому единственного сына только за то, что тот дерзнул поднять влюблённые глаза на эту красавицу. По-видимому ей можно поклоняться только издали; приближаться же к ней разрешается лишь с такими мыслями, с какими мы

подходим к алтарю пресвятой девы.

— Ну, так и быть, — отвечал храмовник, — постараюсь сдержаться и вести себя как скромная девица. Во всяком случае, не опасайтесь, что кто-нибудь посмеет выгнать нас из дому. Мы с моими оруженосцами и слугами, Аметом и Абдаллой, достаточно сильны, чтобы добиться хорошего приёма.

— Ну, так далеко нам нельзя заходить... — отвечал приор. — Но вот и вросший в землю крест, о котором говорил нам шут. Однако ночь такая тёмная, что трудно различить дорогу. Он, кажется, сказал, что нужно повернуть влево.

— Нет, вправо, — сказал Бриан, — мне помнится, что вправо.

— Налево, конечно, налево. Я помню, что он именно налево указывал концом своей деревянной шпаги.

— Да, но шпагу-то он держал в левой руке и указывал поперёк своего тела в противоположную сторону, — сказал храмовник.

Как это всегда бывает, каждый упрямо защищал своё мнение; спросили слуг, но свита всё время держалась поодаль и потому не слыхала того, что говорил Вамба. Наконец Бриан, вглядывавшийся в темноту, заметил у подножия креста какую-то фигуру и сказал:

— Тут кто-то лежит: либо спящий, либо

мёртвый. Гуго, потрогай-ка его концом твоего копья.

Оруженосец не успел дотронуться до лежавшего, как тот вскочил, воскликнув на чистом французском языке:

— Кто бы ты ни был, но невежливо так прерывать мои размышления!

— Мы только хотели спросить тебя, — сказал приор, — как проехать в Ротсрвуд, к жилищу Седрика Сакса.

— Я сам иду в Ротервуд, — сказал незнакомец. — Будь у меня верховая лошадь, я бы проводил вас туда. Дорогу, хотя она и очень запутана, я знаю отлично.

— Мой друг, мы тебя поблагодарим и вознаградим, — сказал приор, — если ты проведёшь нас к Седрику.

Аббат приказал одному из служителей уступить свою лошадь незнакомцу, а самому пересесть на своего испанского жеребца.

Проводник направился в сторону, как раз противоположную той, которую указал Вамба. Тропинка скоро углубилась в самую чащу леса, пересекая несколько ручьёв с топкими берегами; переправляться через них было довольно рискованно, но незнакомец, казалось, чутьём выбирал самые сухие и безопасные места для переправы. Осторожно продвигаясь вперёд, он

вывел наконец отряд на широкую просеку, в конце которой виднелось огромное, неуклюжее строение.

Указав на него рукою, проводник сказал аббату:

— Вот Ротервуд, жилище Седрика Сакса.

Это известие особенно обрадовало Эймера, который обладал не очень крепкими нервами и во время переезда по топким низинам испытывал такой страх, что не имел ни малейшего желания разговаривать со своим проводником. Зато теперь, чувствуя себя в безопасности и недалеко от пристанища, он мигом оправился; любопытство его тотчас пробудилось, и приор спросил проводника, кто он такой и откуда.

— Я пилигрим и только что вернулся из Святой Земли, — отвечал тот.

— Лучше бы вы там и оставались воевать за обладание святым гробом, — сказал рыцарь Храма.

— Вы правы, достопочтенный господин рыцарь, — ответил пилигрим, которому наружность храмовника была, по-видимому, хорошо знакома. — Но что же удивляться, если простой поселянин вроде меня вернулся домой; ведь даже те, кто клялся посвятить всю жизнь освобождению святого города, теперь путешествуют вдали от тех мест, где они должны были бы сражаться согласно своему обету?

Храмовник уже собрался дать гневный ответ

на эти слова, но аббат вмешался в разговор, выразив удивление, как это проводник, давно покинувший эти места, до сих пор ещё так хорошо помнит все лесные тропинки.

— Я здешний уроженец, — отвечал проводник.

И в ту же минуту они очутились перед жилищем Седрика. Это было огромное, неуклюжее здание с несколькими внутренними дворами и оградами. Его размеры указывали на богатство хозяина, однако оно резко отличалось от высоких, обнесённых каменными стенами и защищённых зубчатыми башнями замков, где жили норманские дворяне; впоследствии эти дворянские жилища стали типичным архитектурным стилем во всей Англии.

Впрочем, и в Ротервуде имелаась защита. В те смутные времена ни одно поместье не могло обойтись без укреплений, иначе оно немедленно было бы разграблено и сожжено. Вокруг всей усадьбы шёл глубокий ров, наполненный водой из соседней речки. По обеим сторонам этого рва проходил двойной частокол из заострённых брёвен, которые доставлялись из соседних лесов. С западной стороны в наружной ограде были сделаны ворота; подъёмный мост вёл от них к воротам внутренней ограды. Особые выступы по бокам ворот давали возможность обстреливать

противника перекрёстным огнём из луков и пращей.

Остановившись перед воротами, храмовник громко и нетерпеливо затрубил в рог. Нужно было торопиться, так как дождь, который так долго собирался, полил в эту минуту как из ведра.

Глава III

*Тогда — о горе! — доблестный
Саксонец,
Золотокудрый и голубоглазый,
Пришёл из края, где пустынный
берег
Внимает рёву Северного моря.*

Томсон, «Свобода»

В просторном, но низком зале, на большом дубовом столе, сколоченном из грубых, плохо оструганных досок, приготовлена была вечерняя трапеза Седрика Сакса.

Комнату ничто не отделяло от неба, кроме крыши, крытой тёсом и тростником и поддерживаемой крепкими стропилами и перекладинами.

В противоположных концах зала находились огромные очаги, их трубы были устроены так плохо, что большая часть дыма оставалась в

помещении. От постоянной копоти бревенчатые стропила и перекладины под крышей были густо покрыты гляцевитой коркой сажи, как чёрным лаком. По стенам висели различные принадлежности охоты и боевого вооружения, а в углах зала были створчатые двери, которые вели в другие комнаты обширного дома.

Вся обстановка отличалась суровой саксонской простотой, которой гордился Седрик. Пол был сделан из глины с известью, сбитой в плотную массу, какую и поныне нередко можно встретить в наших амбарах. В одном конце зала пол был немного приподнят; на этом месте, называвшемся почётным помостом, могли сидеть только старшие члены семейства и наиболее уважаемые гости. Поперёк помоста стоял стол, покрытый дорогой красной скатертью; от середины его вдоль нижней части зала тянулся другой, предназначенный для трапез домашней челяди и простолюдинов.

Все столы вместе имели сходство с формой буквы «Т» или с теми старинными обеденными столами, сделанными по тому же принципу, какие и теперь встречаются в старомодных колледжах Оксфорда и Кембриджа. Вокруг главного стола на помосте стояли крепкие стулья и кресла из резного дуба. Над помостом был устроен суконный балдахин, который до некоторой степени защищал

сидевших там важных лиц от дождя, пробивавшегося сквозь плохую крышу.

Возле помоста на стенах висели пёстрые, с грубым рисунком, драпировки, а пол был устлан таким же ярким ковром. Над длинным нижним столом, как мы уже говорили, совсем не было никакого потолка, не было ни балдахина, ни драпировок на грубо выбеленных стенах, ни ковра на глиняном полу; вместо стульев тянулись массивные скамьи.

У середины верхнего стола стояли два кресла повыше остальных, предназначавшиеся для хозяйки и хозяина, которые присутствовали и возглавляли все трапезы и потому носили почётное звание «Раздаватели хлеба». К каждому из этих кресел была подставлена скамеечка для ног, украшенная резьбой и узором из слоновой кости, что указывало на особое отличие тех, кому они принадлежали.

На одном из этих кресел сидел сейчас Седрик Сакс, нетерпеливо ожидая ужина. Хотя он был по своему званию не более как тан или, как называли его норманны, Франклин, однако всякое опоздание обеда или ужина приводило его в не меньшее раздражение, чем любого олдермена старого или нового времени.

По лицу Седрика было видно, что он человек прямодушный, нетерпеливый и вспыльчивый. Среднего роста, широкоплечий, с длинными

руками, он отличался крепким телосложением человека, привыкшего переносить суровые лишения на войне или усталость на охоте. Голова его была правильной формы, зубы белые, широкое лицо с большими голубыми глазами дышало смелостью и прямоотой и выражало такое благодущие, которое легко сменяется вспышками внезапного гнева. В его глазах блистали гордость и постоянная насторожённость, потому что этот человек всю жизнь защищал свои права, посягательства на которые непрестанно повторялись, а его скорый, пылкий и решительный нрав всегда держал его в тревоге за своё исключительное положение. Длинные русые волосы Седрика, разделённые ровным пробором, шедшим от темени до лба, падали на плечи; седина едва пробивалась в них, хотя ему шёл шестидесятый год.

На нём был кафтан зелёного цвета, отделанный у ворота и обшлагов серым мехом, который ценится ниже горноста и выделяется, как полагают, из шкурок серой белки. Кафтан не был застёгнут, и под ним виднелась узкая, плотно прилегающая к телу куртка из красного сукна. Штаны из такого же материала доходили лишь до колен, оставляя голени обнажёнными. Его обувь была той же формы, что и у его крестьян, но из лучшей кожи и застёгивалась спереди золотыми

пряжками. На руках он носил золотые браслеты, на шее — широкое ожерелье из того же драгоценного металла, вокруг талии — пояс, богато выложенный драгоценными камнями; к поясу был прикреплен короткий прямой двусторонний меч с сильно заостренным концом. За его креслом висели длинный плащ из красного сукна, отороченный мехом, и шапка с нарядной вышивкой, составлявшие обычный выходной костюм богатого землевладельца. К спинке его кресла была прислонена короткая рогатина с широкой блестящей стальной головкой, служившая ему во время прогулок вместо трости или в качестве оружия.

Несколько слуг, одежды которых были как бы переходными ступенями между роскошным костюмом хозяина и грубой простотой одежды свинопаса Гурта, смотрели в глаза своему властелину и ожидали его приказаний. Из них двое или трое старших стояли на помосте, за креслом Седрика, остальные держались в нижней части зала. Были тут слуги и другой породы: три мохнатые борзые собаки из тех, с которыми охотились в ту пору за волками и оленями; несколько огромных поджарых гончих и две маленькие собачки, которых теперь называют терьерами. Они с нетерпением ожидали ужина, но, угадывая своим особым собачьим чутьём, что хозяин не в духе, не

решались нарушить его угрюмое молчание; быть может, они побаивались и белой дубинки, лежавшей возле его прибора и предназначенной для того, чтобы предупреждать назойливость четвероногих слуг. Один только страшный старый волкодав с развязностью избалованного любимца подсел поближе к почётному креслу и время от времени отваживался обратить на себя внимание хозяина, то кладя ему на колени свою большую лохматую голову, то тычась носом в его ладонь. Но даже и его отстраняли суровым окриком: «Прочь, Болдер, прочь! Не до тебя теперь!»

Дело в том, что Седрик, как мы уже заметили, был в дурном настроении. Леди Ровена, ездившая к вечерне в какую-то отдалённую церковь, только что вернулась домой и замешкалась у себя, меняя платье, промокшее под дождём. О Гурте не было ни слуху ни духу, хотя давно уже следовало пригнать стадо домой. Между тем времена стояли тревожные, и можно было опасаться, что стадо задержалось из-за встречи с разбойниками, которых в окрестных лесах было множество, или нападения какого-нибудь соседнего барона, настолько уверенного в своей силе, чтобы пренебречь чужой собственностью. А так как большая часть богатств саксонских помещиков заключалась именно в многочисленных стадах свиней, особенно в лесистых местностях, где эти животные легко

находили корм, то у Седрика были основательные причины для беспокойства.

Вдобавок ко всему этому наш саксонский тан соскучился по любимому шуту Вамбе, который своими шутками приправлял вечернюю трапезу и придавал особый вкус вину и элю. Обычный час ужина Седрика давно миновал, а он ничего не ел с самого полудня, что всегда способно испортить настроение почтенному землевладельцу, как это нередко случается даже и в наше время. Он выражал своё неудовольствие отрывистыми замечаниями, то бормоча их про себя, то обращаясь к слугам, чаще всего к своему кравчему, подносившему ему для успокоения время от времени серебряный стаканчик с вином.

— Почему леди Ровена так замешкалась?

— Она сейчас придёт, только переменит головной убор, — отвечала одна из женщин с той развязностью, с какой любимая служанка госпожи обыкновенно разговаривает в наше время с главою семейства. — Вы же сами не захотите, чтобы она явилась к столу в одном чепце и в юбке, а уж ни одна дама в нашей округе не одевается скорее леди Ровены.

Такой неопровержимый довод как будто удовлетворил Сакса, который в ответ промычал что-то нечленораздельное, потом заметил:

— Дай бог, чтобы в следующий раз была бы

ясная погода, когда она поедет в церковь святого Иоанна. Однако, — продолжал он, обращаясь к кравчему и внезапно повышая голос, словно обрадовавшись случаю сорвать свою досаду, не опасаясь возражений, — какого чёрта Гурт до сих пор торчит в поле? Того и гляди дождёмся плохих вестей о нашем стаде. А ведь он всегда был старательным и осмотрительным слугой! Я уже подумывал дать ему лучшую должность — хотел даже назначить его одним из своих телохранителей.

Тут кравчий Освальд скромно осмелился заметить, что сигнал к тушению огней был подан не более часа тому назад. Это заступничество было малоудачным, потому что кравчий коснулся предмета, упоминание о котором было невыносимо для слуха Сакса.

— Дьявол бы побрал этот сигнальный колокол, — воскликнул Седрик, — и того мучителя, который его выдумал, да и безголового раба, который смеет говорить о нём по-саксонски саксонским же ушам!.. Сигнальный колокол, — продолжал он, помолчав. — Как же... Сигнальный колокол заставляет порядочных людей гасить у себя огонь, чтобы в темноте воры и разбойники могли легче грабить. Да, сигнальный колокол! Реджинальд Фрон де Беф и Филипп де Мальвуазен знают пользу сигнального колокола не хуже самого Вильгельма Ублюдка и всех прочих норманских

проходимцев, сражавшихся под Гастингсом. Того и гляди услышу, что моё имущество отобрано, чтобы спасти от голодной смерти их разбойничью шайку, которую они могут содержать только грабежами. Мой верный раб убит, моё добро украдено, а Вамба... Где Вамба? Кажется, кто-то говорил, что и он ушёл с Гуртом?

Освальд ответил утвердительно.

— Ну вот, час от часу не легче! Стало быть, и саксонского дурака тоже забрали служить норманскому лорду. Да и правда: все мы дураки, коли соглашаемся им служить и терпеть их насмешки; будь мы от рождения полоумными, и то у них было бы меньше оснований издеваться над нами. Но я отомщу! — воскликнул он, вскакивая с кресла и хватаясь за рогатину при одной мысли о воображаемой обиде. — Я подам жалобу в Главный совет — у меня есть друзья, есть и сторонники. Я вызову норманна на честный бой, как подобает мужчине. Пускай выступит в панцире, в кольчуге, во всех доспехах, придающих трусу отвагу. Мне случалось вот таким же дротиком пробивать ограды втрое толще их боевых щитов. Может, они считают меня стариком, но я им покажу, что, хотя я и одинок и бездетен, всё-таки в жилах Седрика течёт кровь Херварда! О Уилфред, Уилфред, — произнёс он горестно, — если бы ты мог победить свою безрассудную страсть, твой отец не оставался бы на

старости лет как одинокий дуб, простирающий свои поломанные и оголённые ветви навстречу налетающей буре!

Эти мысли, по-видимому, превратили его гнев в тихую печаль. Он отложил в сторону дротик, сел на прежнее место, понурил голову и глубоко задумался. Вдруг его размышления прервал громкий звук рога; в ответ на него все собаки в зале, да ещё штук тридцать псов со всей усадьбы, подняли оглушительный лай и визг. Белой дубинке и слугам пришлось немало потрудиться, пока удалось утихомирить псов.

— Эй, слуги, ступайте же к воротам! — сказал Седрик, как только в зале поутихло и можно было расслышать его слова. — Узнайте, какие вести принёс нам этот рог. Посмотрим, какие бесчинства и хищения учинены в моих владениях.

Минуты через три возвратившийся слуга доложил, что приор Эймер из аббатства Жорво и добрый рыцарь Бриан де Буагильбер, командор доблестного и досточтимого ордена храмовников, с небольшою свитой просят оказать им гостеприимство и дать ночлег на пути к месту турнира, назначенного неподалёку от Ашби де ла Зуш на послезавтра.

— Эймер? Приор Эймер? И Бриан де Буагильбер? — бормотал Седрик. — Оба норманны... Но это всё равно, норманны они или

саксы, — Ротервуд не должен отказать им в гостеприимстве. Добро пожаловать, раз пожелали здесь ночевать. Приятнее было бы, если б они проехали дальше. Но неприлично отказать путникам в ужине и ночлеге; впрочем, я надеюсь, что в качестве гостей и норманны будут держать себя поскромнее. Ступай, Гундиберт, — прибавил он, обращаясь к дворецкому, стоявшему за его креслом с белым жезлом в руке. — Возьми с собой полдюжины слуг и проводи приезжих в помещение для гостей. Позаботься об их лошадях и мулах и смотри, чтобы никто из их свиты ни в чём не терпел недостатка. Дай им переодеться, если пожелают, разведи огонь, подай воды для омовения, поднеси вина и эля. Поварам скажи, чтобы поскорее прибавили что-нибудь к нашему ужину, и вели подавать на стол, как только гости будут готовы. Скажи им, Гундиберт, что Седрик и сам бы вышел приветствовать их, но не может, потому что дал обет не отходить дальше трех шагов от своего помоста навстречу гостям, если они не принадлежат к саксонскому королевскому дому. Иди. Смотри, чтобы всё было как следует: пусть эти гордецы не говорят потом, что грубиян Сакс показал себя жалким скупцом.

Дворецкий и несколько слуг ушли исполнять приказания хозяина, а Седрик обратился к кравчему Освальду и сказал:

— Приор Эймер... Ведь это, если не ошибаюсь, родной брат того самого Жилия де Мольверера, который ныне стал лордом Миддлгемом.

Освальд почтительно наклонил голову в знак согласия.

— Его брат занял замок и отнял земли и владения, принадлежавшие гораздо более высокому роду — роду Уилфгора Миддлгемского. А разве все норманские лорды поступают иначе? Этот приор, говорят, довольно весёлый поп и предпочитает кубок с вином и охотничий рог колокольному звону и требнику. Ну, да что говорить. Пускай войдёт, я приму его с честью. А как ты назвал того, храмовника?

— Бриан де Буагильбер.

— Буагильбер? — повторил в раздумье Седрик, как бы рассуждая сам с собой, как человек, который живёт среди подчинённых и привык скорее обращаться к себе самому, чем к другим, — Буагильбер?.. Это имя известное. Много говорят о нём и доброго и худого. По слухам, это один из храбрейших рыцарей ордена Храма, но он погряз в обычных для них пороках: горд, дерзок, злобен и сластолюбив. Говорят, что это человек жестокосердый, что он не боится никого ни на земле, ни на небе. Так отзываются о нём те немногие воины, что воротились из Палестины. А

впрочем, он переночует у меня только одну ночь; ничего, милости просим и его. Освальд, начни бочку самого старого вина; подай к столу лучшего мёду, самого крепкого эля, самого душистого мората, шипучего сидра, пряного пигмента и налей самые большие кубки! Храмовники и аббаты любят добрые вина и большие кубки. Эльгита, доложи леди Ровене, что мы не станем сегодня ожидать её выхода к столу, если только на то не будет её особого желания.

— Сегодня у неё будет особое желание, — отвечала Эльгита без запинки, — последние новости из Палестины ей всегда интересно послушать.

Седрик метнул на бойкую служанку гневный взор. Однако леди Ровена и все, кто ей прислуживал, пользовались особыми привилегиями и были защищены от его гнева. Он сказал только:

— Придержи язык! Иди передай твоей госпоже моё поручение, и пусть она поступает как ей угодно. По крайней мере здесь внучка Альфреда может повелевать как королева.

Эльгита ушла из зала.

— Палестина! — проговорил Сакс. — Палестина... Сколько ушей жадно прислушивается к басням, которые приносят из этой роковой страны распутные крестоносцы и лицемерные пилигримы. И я бы мог спросить, и я бы мог осведомиться и с

замирающим сердцем слушать сказки, которые рассказывают эти хитрые бродяги, втираясь в наши дома и пользуясь нашим гостеприимством... Но нет, сын, который меня ослушался, — не сын мне, и я забочусь о его судьбе не более, чем об участи самого недостойного из тех людишек, которые, пришивая себе на плечо крест, предаются распутству и убийствам да ещё уверяют, будто так угодно богу.

Нахмутив брови, он опустил глаза и минуту сидел в таком положении. Когда же он снова поднял взгляд, створчатые двери в противоположном конце зала распахнулись настежь, и, предшествуемые дворецким с жезлом и четырьмя слугами с пылающими факелами, поздние гости вошли в зал.

Глава IV

*Свиней, козлов, баранов кровь текла;
На мрамор туша брошена вола;
Вот мясо делят, жарят на огне,
И свет играет в розовом вине.
Без почестей Улисс на пир пришёл:
Его в сторонке за треногий стол
Царевич усадил...*

«Одиссея», книга

Аббат Эймер воспользовался удобным случаем, чтобы сменить костюм для верховой езды на ещё более великолепный, поверх которого надел затейливо вышитую мантию. Кроме массивного золотого перстня, являвшегося знаком его духовного сана, он носил ещё множество колец с драгоценными камнями, хотя это и запрещалось монастырским уставом, обувь его была из тончайшего испанского сафьяна, борода подстрижена так коротко, как только это допускалось его саном, темя прикрыто алой шапочкой с нарядной вышивкой.

Храмовник тоже переоделся — его костюм был тоже богат, хотя и не так старательно и замысловато украшен, но сам он производил более величественное впечатление, чем его спутник. Он снял кольчугу и вместо неё надел тунику из тёмно-красной шёлковой материи, опушённую мехом, а поверх неё — длинный белоснежный плащ, ниспадавший крупными складками. Восьмиконечный крест его ордена, вырезанный из чёрного бархата, был нашит на белой мантии. Он снял свою высокую дорогую шапку: густые чёрные как смоль кудри, под стать смуглой коже, красиво обрамляли его лоб. Осанка и поступь, полные величавой грации, были бы очень привлекательны, если бы не надменное выражение лица, говорившее

о привычке к неограниченной власти.

Вслед за почётными гостями вошли их слуги, а за ними смиренно вступил в зал и проводник, в наружности которого не было ничего примечательного, кроме одежды пилигрима. С ног до головы он был закутан в просторный плащ из чёрной саржи, который напоминал нынешние гусарские плащи с такими же висячими клапанами вместо рукавов и назывался склавэн, или славянский. Грубые сандалии, прикреплённые ремнями к обнажённым ногам, широкополая шляпа, обшитая по краям раковинами, окованный железом длинный посох с привязанной к верхнему концу пальмовой ветвью дополняли костюм паломника. Он скромно вошёл позади всех и, видя, что у нижнего стола едва найдётся место для прислуги Седрика и свиты его гостей, отошёл к очагу и сел на скамейку под его навесом. Там он стал сушить своё платье, терпеливо дожидаясь, когда у стола случайно очистится для него место или дворецкий даст ему чего-нибудь поесть тут же у очага.

Седрик с величавой приветливостью встал навстречу гостям, сошёл с почётного помоста и, ступив три шага им навстречу, остановился.

— Сожалею, — сказал он, — достопочтенный приор, что данный мною обет воспрещает мне двинуться далее навстречу даже таким гостям, как ваше преподобие и этот доблестный

рыцарь-храмовник. Но мой дворецкий должен был объяснить вам причину моей кажущейся невежливости. Прошу вас также извинить, что буду говорить с вами на моём родном языке, и вас попрошу сделать то же, если вы настолько знакомы с ним, что это вас не затруднит; в противном случае я сам настолько разумею по-нормански, что разберу то, что вы пожелаете мне сказать.

— Обеты, — сказал аббат, — следует соблюдать, почтенный франклин, или, если позволите так выразиться, почтенный тан, хотя этот титул уже несколько устарел. Обеты суть те узы, которые связуют нас с небесами, или те вервии, коими жертва прикрепляется к алтарю; а потому, как я уже сказал, их следует держать и сохранять нерушимо, если только не отменит их святая наша мать-церковь. Что же касается языка, я очень охотно объяснюсь на том наречии, на котором говорила моя покойная бабушка Хильда Миддлгемская, блаженная кончина которой была весьма сходна с кончиною её достославной тёзки, если позволительно так выразиться, блаженной памяти святой и преподобной Хильды в аббатстве Витби — упокой боже её душу!

Когда приор кончил эту речь, произнесённую с самыми миролюбивыми намерениями, храмовник сказал отрывисто и внушительно:

— Я всегда говорил по-французски, на языке

короля Ричарда и его дворян; но понимаю английский язык настолько, что могу объясниться с уроженцами здешней страны.

Седрик метнул на говорившего один из тех нетерпеливых взоров, которыми почти всегда встречал всякое сравнение между нациями-соперницами; но, вспомнив, к чему его обязывали законы гостеприимства, подавил свой гнев и движением руки пригласил гостей сесть на кресла пониже его собственного, но рядом с собою, после чего велел подавать кушанья.

Прислуга бросилась исполнять приказание, и в это время Седрик увидел свинопаса Гурта и его спутника Вамбу, которые только что вошли в зал.

— Позвать сюда этих бездельников! — нетерпеливо крикнул Седрик.

Когда провинившиеся рабы подошли к помосту, он спросил:

— Это что значит, негодяи? Почему ты, Гурт, сегодня так замешкался? Что ж, пригнал ты своё стадо домой, мошенник, или бросил его на поживу бродягам и разбойникам?

— Стадо всё цело, как угодно вашей милости, — ответил Гурт.

— Но мне вовсе не угодно, мошенник, — сказал Седрик, — целых два часа проводить в тревоге, представлять себе разные несчастья и придумывать месть соседям за те обиды, которых

они мне не причиняли! Помни, что в другой раз колодки и тюрьма будут тебе наказанием за подобный проступок.

Зная вспыльчивый нрав хозяина, Гурт и не пытался оправдываться; но шут, которому многое прощалось, мог рассчитывать на большую терпимость со стороны Седрика и поэтому решился ответить за себя и за товарища:

— Поистине, дядюшка Седрик, ты сегодня совсем не дело говоришь.

— Что такое? — отозвался хозяин. — Я тебя пошлю в сторожку и прикажу выдрать, если ты будешь давать волю своему дурацкому языку!

— А ты сперва ответь мне, мудрый человек, — сказал Вамба, — справедливо и разумно ли наказывать одного за провинности другого?

— Конечно, нет, дурак.

— Так что же ты грозишься заковать в кандалы бедного Гурта, дядюшка, за грехи его собаки Фангса? Я готов хоть сейчас присягнуть, что мы ни единой минуты не замешкались в дороге, как только собрали стадо, а Фанге еле-еле успел загнать их к тому времени, когда мы услышали звон к вечерне.

— Стало быть, Фангса и повесить, — поспешно объявил Седрик, обращаясь к Гурту, — он виноват. А себе возьми другую собаку.

— Постой, постой, дядюшка, — сказал

шут, — ведь и такое решение, выходит, не совсем справедливо: чем же виноват Фанге, коли он хромает и не мог быстро собрать стадо? Это вина того, кто обстриг ему когти на передних лапах; если б Фангса спросили, так, верно, бедняга не согласился бы на эту операцию.

— Кто же осмелился так изувечить собаку, принадлежащую моему рабу? — спросил Сакс, мигом приходя в ярость.

— Да вот старый Губерт её изувечил, — отвечал Вамба, — начальник охоты у сэра Филиппа Мальвуазена. Он поймал Фангса в лесу и заявил, будто тот гонялся за оленем. А это, видишь ли, запрещено хозяином. А сам он лесной сторож, так вот...

— Чёрт бы побрал этого Мальвуазена, да и его сторожа! — воскликнул Седрик. — Я им докажу, что этот лес не входит в число охотничьих заповедников, установленных великой лесной хартией... Но довольно об этом. Ступай, плут, садись на своё место. А ты, Гурт, достань себе другую собаку, и если этот сторож осмелится тронуть её, я его отучу стрелять из лука. Будь я проклят, как трус, если не отрублю ему большого пальца на правой руке! Тогда он перестанет стрелять... Прошу извинить, почтенные гости. Мои соседи — не лучше ваших язычников в Святой Земле, сэры рыцарь. Однако ваша скромная трапеза

уже перед вами. Прошу откусать, и пусть добрые пожелания, с какими предлагаются вам эти яства, вознаградят вас за их скромность.

Угощение, расставленное на столах, не нуждалось, однако, в извинениях хозяина дома. На нижний стол было подано свиное мясо, приготовленное различными способами, а также множество кушаний из домашней птицы, оленины, козлятины, зайцев и рыбы, не говоря уже о больших каравах хлеба, печенье и всевозможных сладостях, варенных из ягод и мёда. Мелкие сорта дичи, которой было также большое количество, подавались не на блюдах, а на деревянных спицах или вертелах. Пажи и прислуга предлагали их каждому из гостей по порядку; гости уже сами брали себе столько, сколько им хотелось. Возле каждого почётного гостя стоял серебряный кубок; на нижнем столе пили из больших рогов.

Только что собрались приняться за еду, как дворецкий поднял жезл и громко произнёс:

— Прошу прощения — место леди Ровене! Позади почётного стола, в верхнем конце зала, отворилась боковая дверь, и на помост взошла леди Ровена в сопровождении четырех прислужниц.

Седрик был удивлён и недоволен тем, что его воспитанница по такому случаю появилась на людях, тем не менее он поспешил ей навстречу и, взяв за руку, с почтительной торжественностью

подвёл к предназначенному для хозяйки дома креслу на возвышении, по правую руку от своего места. Все встали при её появлении. Ответив безмолвным поклоном на эту любезность, она грациозно проследовала к своему месту за столом. Но не успела она сесть, как храмовник шепнул аббату:

— Не носить мне вашей золотой цепи на турнире, а хиосское вино принадлежит вам!

— А что я вам говорил? — ответил аббат. — Но умерьте свои восторги — франклин наблюдает за вами.

Бриан де Буагильбер, привыкший считаться только со своими желаниями, не обратил внимания на это предостережение и впился глазами в саксонскую красавицу, которая, вероятно, тем более поразила его, что ничем не была похожа на восточных султанш.

Ровена была прекрасно сложена и высока ростом, но не настолько высока, однако ж, чтобы это бросалось в глаза. Цвет её кожи отличался ослепительной белизной, а благородные очертания головы и лица были таковы, что исключали мысль о бесцветности, часто сопровождающей красоту слишком белокожих блондинок. Ясные голубые глаза, опущённые длинными ресницами, смотрели из-под тонких бровей каштанового цвета, придававших выразительность её лбу. Казалось,

глаза эти были способны как воспламенять, так и умиротворять, как повелевать, так и умолять. Кроткое выражение больше всего шло к её лицу. Однако привычка ко всеобщему поклонению и к власти над окружающими придала этой саксонской девушке особую величавость, дополняя то, что дала ей сама природа. Густые волосы светлорусого оттенка, завитые изящными локонами, были украшены драгоценными камнями и свободно падали на плечи, что в то время было признаком благородного происхождения. На шее у неё висела золотая цепочка с подвешенным к ней маленьким золотым ковчегом. На обнажённых руках сверкали браслеты. Поверх её шёлкового платья цвета морской воды было накинуто другое, длинное и просторное, ниспадавшее до самой земли, с очень широкими рукавами, доходившими только до локтей. К этому платью пунцового цвета, сотканному из самой тонкой шерсти, была прикреплена лёгкая шёлковая вуаль с золотым узором. Эту вуаль при желании можно было накинуть на лицо и грудь, на испанский лад, или набросить на плечи.

Когда Ровена заметила устремлённые на неё глаза храмовника с загоревшимися в них, словно искры на углях, огоньками, она с чувством собственного достоинства опустила покрывало на лицо в знак того, что столь пристальный взгляд ей

неприятен. Седрик увидел её движение и угадал его причину.

— Сэр рыцарь, — сказал он, — лица наших саксонских девушек видят так мало солнечных лучей, что не могут выдержать столь долгий и пристальный взгляд крестоносца.

— Если я провинился, — отвечал сэр Бриан, — прошу у вас прощения, то есть прошу леди Ровену простить меня; далее этого не может идти моё смирение.



— Леди Ровена, — сказал аббат, — желая покарать смелость моего друга, наказала всех нас. Надеюсь, что она не будет столь жестока к тому блестящему обществу, которое мы встретим на турнире.

— Я ещё не знаю, отправимся ли мы на турнир, — сказал Седрик. — Я не охотник до этих суетных забав, которые были неизвестны моим предкам в ту пору, когда Англия была свободна.

— Тем не менее, — сказал приор, — позвольте нам надеяться, что в сопровождении нашего отряда вы решитесь туда отправиться. Когда дороги так небезопасны, не следует пренебрегать присутствием сэра Бриана де Буагильбера.

— Сэр приор, — отвечал Сакс, — где бы я ни путешествовал в этой стране, до сих пор я не нуждался ни в чьей защите, помимо собственного доброго меча и верных слуг. К тому же, если мы надумаем поехать в Ашби де ла Зуш, нас будет сопровождать мой благородный сосед Ательстан Конингсбургский с такой свитой, что нам не придётся бояться ни разбойников, ни феодалов. Поднимаю этот бокал за ваше здоровье, сэр приор, — надеюсь, что вино моё вам по вкусу, — и благодарю вас за любезность. Если же вы так строго придерживаетесь монастырского устава, — прибавил он, — что предпочитаете пить кислое молоко, надеюсь, что вы не будете стесняться и не станете пить вино из одной только вежливости.

— Нет, — возразил приор, рассмеявшись, — мы ведь только в стенах монастыря довольствуемся свежим или кислым молоком, в миру же мы поступаем как миряне; поэтому я отвечу на ваш любезный тост, подняв кубок этого честного вина, а менее крепкие напитки предоставляю моему послушнику.

— А я, — сказал храмовник, наполняя свой бокал, — пью за здоровье прекрасной Ровены. С того дня как ваша тёзка вступила в пределы Англии, эта страна не знала женщины, более достойной поклонения. Клянусь небом, я понимаю теперь несчастного Вортигерна! Будь перед ним хотя бы бледное подобие той красоты, которую мы видим, и то этого было бы достаточно, чтобы забыть о своей чести и царстве.

— Я не хотела бы, чтобы вы расточали столько любезностей, сэр рыцарь, — сказала Ровена с достоинством и не поднимая покрывала, — лучше я воспользуюсь вашей учтивостью, чтобы попросить вас сообщить нам последние новости о Палестине, так как это предмет, более приятный для нашего английского слуха, нежели все комплименты, внушаемые вам вашим французским воспитанием.

— Не много могу сообщить вам интересного, леди, — отвечал Бриан де Буагильбер. — Могу лишь подтвердить слухи о том, что с Саладином заключено перемирие.

Его речь была прервана Вамбой. Шут пристроился шагах в двух позади кресла хозяина, который время от времени бросал ему подачки со своей тарелки. Впрочем, такой же милостью пользовались и любимые собаки, которых, как мы уже видели, в зале было довольно много. Вамба

сидел перед маленьким столиком на стуле с вырезанными на спинке ослиными ушами. Подсунув пятки под перекладину своего стула, он так втянул щёки, что его челюсти стали похожи на щипцы для орехов, и наполовину зажмурил глаза, что не мешало ему ко всему прислушиваться, чтобы не упустить случая совершить одну из тех проделок, которые ему разрешались.

— Уж эти мне перемирия! — воскликнул он, не обращая внимания на то, что внезапно перебил речь величавого храмовника. — Они меня совсем состарили!

— Как, плут? Что это значит? — сказал Седрик, с явным удовольствием ожидая, какую шутку выкинет шут.

— А то как же, — отвечал Вамба. — На моём веку было уже три таких перемирия, и каждое — на пятьдесят лет. Стало быть, выходит, что мне полтора ста лет.

— Ну, я ручаюсь, что ты умрёшь не от старости, — сказал храмовник, узнавший в нём своего лесного знакомого. — Тебе на роду написано умереть насильственной смертью, если ты будешь так показывать дорогу проезжим, как сегодня приору и мне.

— Как так, мошенник? — воскликнул Седрик. — Сбивать с дороги проезжих! Надо будет тебя постегать: ты, значит, такой же плут, как и

дурак.

— Сделай милость, дядюшка, — сказал шут, — на этот раз позволь моей глупости заступиться за моё плутовство. Я только тем и провинился, что перепутал, которая у меня правая рука, а которая левая. А тому, кто спрашивает у дурака совета и указания, надо быть понисходительнее.

Тут разговор был прерван появлением слуги, которого привратник прислал доложить, что у ворот стоит странник и умоляет впустить его на ночлег.

— Впустить его, — сказал Седрик, — кто бы он ни был, всё равно. В такую ночь, когда гроза бушует на дворе, даже дикие звери жмутся к стадам и ищут покровительства у своего смертельного врага — человека, лишь бы не погибнуть от расходившихся стихий. Дайте ему всё, в чём он нуждается. Освальд, присмотри за этим хорошенько.

Кравчий тотчас вышел из зала и отправился исполнять приказания хозяина.

Глава V

Разве у евреев нет глаз?

*Разве у них нет рук, органов, членов
тела, чувств, привязанностей,*

страстей? Разве не та же самая пища насыщает его, разве не то же оружие ранит его, разве он не подвержен тем же недугам, разве не те же лекарства исцеляют его, разве не согревают и не студят его те же лето и зима, как и христианина?

**«Венецианский
купец»**

Освальд воротился и, наклонившись к уху своего хозяина, прошептал:

— Это еврей, он назвал себя Исааком из Йорка. Хорошо ли будет, если я приведу его сюда?

— Пускай Гурт исполняет твои обязанности, Освальд, — сказал Вамба с обычной наглостью. — Свинопас как раз подходящий церемониймейстер для еврея.

— Пресвятая Мария, — молвил аббат, осеняя себя крестным знамением, — допускать еврея в такое общество!

— Как! — отозвался храмовник. — Чтобы собака еврей приблизился к защитнику святого гроба!

— Вишь ты, — сказал Вамба, — значит, храмовники любят только еврейские денежки, а компании их не любят!

— Что делать, почтенные гости, — сказал Седрик, — я не могу нарушить законы

гостеприимства, чтобы угодить вам. Если господь бог терпит долгие века целый народ упорных еретиков, можно и нам потерпеть одного еврея в течение нескольких часов. Но я никого не стану принуждать общаться с ним или есть вместе с ним. Дайте ему отдельный столик и покормите особо. А впрочем, — прибавил он, улыбаясь, — быть может, вон те чужеземцы в чалмах примут его в свою компанию?

— Сэр франклин, — отвечал храмовник, — мои сарацинские невольники — добрые мусульмане и презирают евреев ничуть не меньше, чем христиане.

— Клянусь, уж я не знаю, — вмешался Вамба, — чем поклонники Махмуда и Термаганта лучше этого народа, когда-то избранного самим богом!

— Ну, пусть он сядет рядом с тобой, Вамба, — сказал Седрик. — Дурак и плут — хорошая пара.

— А дурак сумеет по-своему отделаться от плута, — сказал Вамба, потрясая в воздухе костью от свиного окорока.

— Тсс!.. Вот он идёт, — сказал Седрик.

Впущенный без всяких церемоний, в зал боязливой и нерешительной поступью вошёл худощавый старик высокого роста; он на каждом шагу отвешивал смиренные поклоны и казался

ниже, чем был на самом деле, от привычки держаться в согбенном положении. Черты его лица были тонкие и правильные; орлиный нос, пронизательные чёрные глаза, высокий лоб, изборозждённый морщинами, длинные седые волосы и большая борода могли бы производить благоприятное впечатление, если бы не так резко изобличали его принадлежность к племени, которое в те тёмные века было предметом отвращения для суеверных и невежественных простолюдинов, а со стороны корыстного и жадного дворянства подвергалось самому лютому преследованию.

Одежда еврея, значительно пострадавшая от непогоды, состояла из простого бурого плаща и тёмно-красного хитона. На нём были большие сапоги, отороченные мехом, и широкий пояс, за который были заткнуты небольшой ножик и коробка с письменными принадлежностями. На голове у него была высокая четырехугольная жёлтая шапка особого фасона: закон повелевал евреям носить их, в знак отличия от христиан. При входе в зал он смиренно снял шапку.

Приём, оказанный этому человеку под кровом Седрика Сакса, удовлетворил бы требованиям самого ярого противника израильского племени. Сам Седрик в ответ на многократные поклоны еврея только кивнул головой и указал ему на нижний конец стола. Однако там никто не

потеснился, чтобы дать ему место. Когда он проходил вдоль ряда ужинавших, бросая робкие и умоляющие взгляды на каждого из сидевших за нижним концом стола, слуги-саксы нарочно расставляли локти и, приподняв плечи, продолжали поглощать свой ужин, не обращая ни малейшего внимания на нового гостя. Монастырская прислуга крестилась, оглядываясь на него с благочестивым ужасом; даже сарацины, когда Исаак проходил мимо них, начали гневно крутить усы и хвататься за кинжалы, готовые самыми отчаянными мерами предотвратить его приближение.

Очень вероятно, что по тем же причинам, которые побудили Седрика принять под свой кров потомка отверженного народа, он настоял бы и на том, чтобы его люди обошлись с Исааком учтивее, но как раз в ту пору аббат завёл с ним такой интересный разговор о породах и повадках его любимых собак, что Седрик никогда не прервал бы его и для более важного дела, чем вопрос о том, пойдёт ли еврей спать без ужина.

Исаак стоял в стороне от всех, тщетно ожидая, не найдётся ли для него местечка, где бы он мог присесть и отдохнуть. Наконец пилигрим, сидевший на скамье у камина, сжалился над ним, встал с места и сказал:

— Старик, моя одежда просохла, я уже сыт, а ты промок и голоден.

Сказав это, он сгрёб на середину широкого очага разбросанные и потухавшие поленья и раздул яркое пламя; потом пошёл к столу, взял чашку горячей похлёбки с козлёнком, отнёс её на столик, у которого сам ужинал, и, не дожидаясь изъявлений благодарности со стороны еврея, направился в противоположный конец зала: быть может, он не желал дальнейшего общения с тем, кому услужил, а может быть, ему просто захотелось стать поближе к почётному помосту.

Если бы в те времена существовали живописцы, способные передать подобный сюжет, фигура этого еврея, склонившегося перед огнём и согревающего над ним свои окоченевшие и дрожащие руки, могла бы послужить им хорошей натурой для изображения зимнего времени года. Несколько отогревшись, он с жадностью принялся за дымящуюся похлёбку и ел так поспешно и с таким явным наслаждением, словно давно не отведал пищи.

Тем временем аббат продолжал разговаривать с Седриком об охоте; леди Ровена углубилась в беседу с одной из своих прислужниц, а надменный рыцарь Храма, поглядывая то на еврея, то на саксонскую красавицу, задумался о чём-то, по-видимому, очень для него интересном.

— Дивлюсь я вам, достопочтенный Седрик, — говорил аббат. — Неужели же вы при всей вашей

большой любви к мужественной речи вашей родины не хотите признать превосходство нормано-французского языка во всём, что касается охотничьего искусства? Ведь ни в одном языке не найти такого обилия специальных выражений для охоты в поле и в лесу.

— Добрейший отец Эймер, — возразил Седрик, — да будет вам известно, что я вовсе не гонюсь за всеми этими заморскими тонкостями; я и без них очень приятно провожу время в лесах. Трубить в рог я умею, хоть не называю звук рога *geseat* или *mort*¹¹, умею натравить собак на зверя, знаю, как лучше содрать с него шкуру и как его распластать, и отлично обхожусь без этих новомодных словечек: *curee*, *arbor*, *pombles*¹² и прочей болтовни в духе сказочного сэра Тристрама.

— Французский язык, — сказал храмовник со свойственной ему при всех случаях жизни надменной заносчивостью, — единственный приличный не только на охоте, но и в любви и на

¹¹ *Receat* (от старофранц. *gacheter* — созывать) — сигнал для созывания охотничьих собак в начале или в конце охоты. *Mort* — сигнал охотничьего рога, означающий смерть затравленной добычи (от франц. *mort* — смерть).

¹² Французские охотничьи термины.

войне. На этом языке следует завоёвывать сердца дам и побеждать врагов.

— Выпьем-ка с вами по стакану вина, сэрыцарь, — сказал Седрик, — да кстати и аббату налейте! А я тем временем расскажу вам о том, что было лет тридцать тому назад. Тогда простая английская речь Седрика Сакса была приятна для слуха красавиц, хотя в ней и не было выкрутасов французских трубадуров. Когда мы сражались на полях Норталлертона, боевой клич сакса был слышен в рядах шотландского войска не хуже *cri de guerre* ¹³ храбрейшего из норманских баронов. Помянем бокалом вина доблестных бойцов, бившихся там. Выпейте вместе со мною, мои гости.

Он выпил свой стакан разом и продолжал с возрастающим увлечением:

— Сколько щитов было порублено в тот день! Сотни знамён развевались над головами храбрецов. Кровь лилась рекой, а смерть казалась всем краше бегства. Саксонский бард прозвал этот день праздником мечей, слётом орлов на добычу; удары секир и мечей по шлемам и щитам врагов, шум битвы и боевые клики казались певцу веселее свадебных песен. Но нет у нас бардов. Наши подвиги стёрты деяниями другого народа, наш

¹³ Боевого клича (франц.).

язык, самые наши имена скоро предадут забвению. И никто не пожалеет об этом, кроме меня, одинокого старика... Кравчий, бездельник, наполняй кубки! За здоровье храбрых в бою, сэр рыцарь, к какому бы племени они ни принадлежали, на каком бы языке ни говорили! За тех, кто доблестнее всех воюет в Палестине в рядах защитников креста!

— Я сам ношу знамение креста, и мне не пристало говорить об этом, — сказал Бриан де Буагильбер, — но кому же другому отдать пальму первенства среди крестоносцев, как не рыцарям Храма — верным стражам гроба господня!

— Иоаннитам, — сказал аббат. — Мой брат вступил в этот орден.

— Я и не думаю оспаривать их славу, — сказал храмовник, — но...

— А знаешь, дядюшка Седрик, — вмешался Вамба, — если бы Ричард Львиное Сердце был поумнее да послушался меня, дурака, сидел бы он лучше дома со своими весёлыми англичанами, а Иерусалим предоставил бы освободить тем самым рыцарям, которые его сдали.

— Разве в английском войске никого не было, — сказала вдруг леди Ровена, — чьё имя было бы достойно стать наряду с именами рыцарей Храма и иоаннитов?

— Простите меня, леди, — отвечал де

Буагильбер, — английский король привёл с собой в Палестину толпу храбрых воинов, которые уступали в доблести только тем, кто своею грудью непрерывно защищал Святую Землю.

— Никому они не уступали, — сказал пилигрим, который стоял поблизости и всё время с заметным нетерпением прислушивался к разговору.

Все взоры обратились в ту сторону, откуда раздалось это неожиданное утверждение.

— Я заявляю, — продолжал пилигрим твёрдым и сильным голосом, — что английские рыцари не уступали никому из обнаживших меч на защиту Святой Земли. Кроме того, скажу, что сам король Ричард и пятеро из его рыцарей после взятия крепости Сен-Жан д'Акр дали турнир и вызвали на бой всех желающих. Я сам видел это, потому и говорю. В тот день каждый из рыцарей трижды выезжал на арену и всякий раз одерживал победу. Прибавлю, что из числа их противников семеро принадлежали к ордену рыцарей Храма. Сэру Бриану де Буагильберу это очень хорошо известно, и он может подтвердить мои слова.

Невозможно описать тот неистовый гнев, который мгновенно вспыхнул на ещё более потемневшем лице смуглого храмовника. Разгневанный и смущённый, схватился он дрожащими пальцами за рукоять меча, но не обнажил его, вероятно сознавая, что расправа не

пройдёт безнаказанно в таком месте и при таких свидетелях. Но простой и прямодушный Седрик, который не привык одновременно заниматься различными делами, так обрадовался известиям о доблести соплеменников, что не заметил злобы и растерянности своего гостя.

— Я бы охотно отдал тебе этот золотой браслет, пилигрим, — сказал он, — если бы ты перечислил имена тех рыцарей, которые так благородно поддержали славу нашей весёлой Англии.

— С радостью назову их по именам, — отвечал пилигрим, — и никакого подарка мне не надо: я дал обет некоторое время не прикасаться к золоту.

— Хочешь, друг пилигрим, я за тебя буду носить этот браслет? — сказал Вамба.

— Первым по доблести и воинскому искусству, по славе и по положению, им занимаемому, — начал пилигрим, — был храбрый Ричард, король Англии.

— Я его прощаю! — воскликнул Седрик. — Прощаю то, что он потомок тирана, герцога Вильгельма.

— Вторым был граф Лестер, — продолжал пилигрим, — а третьим — сэр Томас Малтон из Гилсленда.

— О, это сакс! — с восхищением сказал

Седрик.

— Четвёртый — сэра Фолк Дойли, — молвил пилигрим.

— Тоже саксонец, по крайней мере с материнской стороны, — сказал Седрик, с величайшей жадностью ловивший каждое его слово. Охваченный восторгом по случаю победы английского короля и сородичей-островитян, он почти забыл свою ненависть к норманнам. — Ну, а кто же был пятый? — спросил он.

— Пятый был сэра Эдвин Торнхем.

— Чистокровный сакс, клянусь душой Хенгиста! — крикнул Седрик. — А шестой? Как звали шестого?

— Шестой, — отвечал пилигрим, немного помолчав и как бы собираясь с мыслями, — был совсем юный рыцарь, малоизвестный и менее знатный; его приняли в это почётное товарищество не столько ради его доблести, сколько для круглого счёта. Имя его стёрлось из моей памяти.

— Сэра пилигрим, — сказал Бриан де Буагильбер с пренебрежением, — такая притворная забывчивость после того, как вы успели припомнить так много, не достигнет цели. Я сам назову имя рыцаря, которому из-за несчастной случайности — по вине моей лошади — удалось выбить меня из седла. Его звали рыцарь Айвенго; несмотря на его молодость, ни один из его

соратников не превзошёл Айвенго в искусстве владеть оружием. И я громко, при всех, заявляю, что, будь он в Англии и пожелай он на предстоящем турнире повторить тот вызов, который послал мне в Сен-Жан д'Акре, я готов сразиться с ним, предоставив ему выбор оружия. При том коне и вооружении, которыми я теперь располагаю, я отвечаю за исход поединка.

— Ваш вызов был бы немедленно принят, — отвечал пилигрим, — если бы ваш противник здесь присутствовал. А при настоящих обстоятельствах не подобает нарушать покой этого мирного дома, похваляясь победою в поединке, который едва ли может состояться. Но если Айвенго когда-либо вернётся из Палестины, я вам ручаюсь, что он будет драться с вами.

— Хороша порука! — возразил храмовник. — А какой залог вы мне можете предложить?

— Этот ковчег, — сказал пилигрим, вынув из-под плаща маленький ящик из слоновой кости и творя крестное знамение. — В нём хранится частица настоящего креста господня, привезённая из Монт-Кармельского монастыря.

Приор аббатства Жорво тоже перекрестился и набожно стал читать вслух «Отче наш». Все последовали его примеру, за исключением еврея, мусульман и храмовника. Не обнаруживая никакого почтения к святыне, храмовник снял с шеи золотую

цепь, швырнул её на стол и сказал:

— Прошу аббата Эймера принять на хранение мой залог и залог этого безымённого странника в знак того, что, когда рыцарь Айвенго вступит на землю, омываемую четырьмя морями Британии, он будет вызван на бой с Брианом де Буагильбером. Если же означенный рыцарь не ответит на этот вызов, он будет провозглашён мною трусом с высоты стен каждого из существующих в Европе командорств ордена храмовников.

— Этого не случится, — вмешалась леди Ровена, прерывая своё продолжительное молчание. — За отсутствующего Айвенго скажу я, если никто в этом доме не желает за него вступиться. Я заявляю, что он примет любой вызов на честный бой. Если бы моя слабая порука могла повысить значение бесценного залога, представленного этим праведным странником, я бы поручилась своим именем и доброй славой, что Айвенго даст этому гордому рыцарю желаемое удовлетворение.

В душе Седрика поднялся такой вихрь противоречивых чувств, что он не в состоянии был проронить ни слова во время этого спора. Радостная гордость, гнев, смущение сменялись на его открытом и честном лице, точно тени от облаков, пробегающих над сжатым полем. Домашние слуги, на которых имя Айвенго произвело впечатление

электрической искры, затаив дыхание ждали, что будет дальше, не спуская глаз с хозяина. Но когда заговорила Ровена, её голос как будто заставил Седрика очнуться и прервать молчание.

— Леди Ровена, — сказал он, — это излишне. Если бы понадобился ещё залог, я сам, несмотря на то, что Айвенго жестоко оскорбил меня, готов своей собственной честью поручиться за его честь. Но, кажется, предложенных залогов и так достаточно — даже по модному уставу норманского рыцарства. Так ли я говорю, отец Эймер?

— Совершенно верно, — подтвердил приор, — ковчег со святыней и эту богатую цепь я отвезу в наш монастырь и буду хранить в ризнице до тех пор, пока это дело не получит должного исхода.

Он ещё несколько раз перекрестился, бормоча молитвы и совершая многократные коленопреклонения, и передал ковчег в руки сопровождавшего его монаха — брата Амвросия; потом уже без всякой церемонии, но, может быть, с неменьшим удовольствием сгрёб со стола золотую цепь и опустил её в надушённую сафьяновую сумку, висевшую у него на поясе.

— Ну, сэр Седрик, — сказал аббат, — ваше доброе вино так крепко, что у меня в ушах уже звонят к вечерне. Позвольте нам ещё раз выпить за

здоровье леди Ровены, да и отпустите нас на отдых.

— Клянусь бромхольским крестом, — сказал Сакс, — вы плохо поддерживаете свою добрую славу, сэръ приор. Молва отзывается о вас как об исправном монахе: говорят, будто вы только тогда отрываетесь от доброго вина, когда зазвонят к заутрене, и я на старости лет боялся осрамиться, состязаясь с вами. Клянусь честью, в моё время двенадцатилетний мальчишка-сакс дольше вашего просидел бы за столом.

Однако у приора были причины настойчиво придерживаться на этот раз правил умеренности. Он не только по своему званию был присяжным миротворцем, но и на деле терпеть не мог всяких ссор и столкновений. Это происходило, впрочем, не от любви к ближнему или к самому себе; он опасался вспыльчивости старого сакса и предвидел, что запальчивое высокомерие храмовника, уже не раз прорывавшееся наружу, в конце концов вызовет весьма неприятную ссору. Поэтому он стал распространяться о том, что по части выпивки ни один народ не может сравниться с крепкоголовыми и выносливыми саксами, намекнув даже, как бы мимоходом, на святость своего сана, и закончил настойчивой просьбой позволить удалиться на покой.

Вслед за тем прощальный кубок обошёл круг. Гости, низко поклонившись хозяину и леди Ровене,

встали и разбрелись по залу, а хозяева в сопровождении ближайших слуг удалились в свои покои.

— Нечестивый пёс, — сказал храмовник еврею Исааку, проходя мимо него, — так ты тоже пробираешься на турнир?

— Да, собираюсь, — отвечал Исаак, смиренно кланяясь, — если угодно будет вашей досточтимой доблести.

— Как же, — сказал рыцарь, — затем и идёшь, чтобы своим лихоимством вытянуть все жилы из дворян, а женщин и мальчишек разорять красивыми безделушками. Готов поручиться, что твой кошелёк битком набит шекелями.

— Ни одного шекеля, ни единого серебряного пенни, ни полушки нет, клянусь богом Авраама! — сказал еврей, всплеснув руками. — Я иду просить помощи у собратий для уплаты налога, который взыскивает с меня палата еврейского казначейства. Да ниспошлёт мне удачу праотец Иаков. Я совсем разорился. Даже плащ, что я ношу, ссудил мне Рейбен из Тадкастера.

Храмовник жёлчно усмехнулся и проговорил:
— Проклятый лгун!

С этими словами он отошёл от еврея и, обратившись к своим мусульманским невольникам, сказал им что-то на языке, не известном никому из присутствующих.

Бедный старик был так ошеломлён обращением к нему воинственного монаха, что тот успел уже отойти на другой конец зала, прежде чем бедняга решился поднять голову и изменить свою униженную позу. Когда же он наконец выпрямился и оглянулся, лицо его выражало изумление человека, только что ослеплённого молнией и оглушённого громом.

Вскоре храмовник и аббат отправились в отведённые им спальни. Провожали их дворецкий и кравчий. При каждом из них шло по два прислужника с факелами, а ещё двое несли на подносах прохладительные напитки; в то же время другие слуги указывали свите храмовника и приора и остальным гостям места, где для них был приготовлен ночлег.

Глава VI

С ним подружусь, чтобы войти в доверье:

Получится — прекрасно, нет — прощай.

Но я прошу, меня не обессудь!

**«Венецианский
купец»**

Когда пилигрим, сопровождаемый слугою с

факелом, проходил по запутанным переходам этого огромного дома, построенного без определённого плана, его нагнал кравчий и сказал ему на ухо, что если он ничего не имеет против кружки доброго мёда, то в его комнате уже собралось много слуг, которым хотелось бы послушать рассказы о Святой Земле, а в особенности о рыцаре Айвенго. Вслед за кравчим с той же просьбой явился Вамба, уверяя, будто один стакан вина после полуночи стоит трех после сигнала к тушению огней.

Не оспаривая этого утверждения, исходившего от такого сведущего лица, пилигрим поблагодарил обоих за любезное приглашение, но сказал, что данный им обет воспрещает ему беседовать на кухне о том, о чём нельзя говорить за господским столом.

— Ну, такой обет, — сказал Вамба, обращаясь к кравчему, — едва ли подходит слуге.

— Я было собирался дать ему комнату на чердаке, — сказал кравчий, с досадой пожимая плечами, — но раз он не хочет водить компанию с добрыми христианами, пускай ночует рядом с Исааком. Энвольд, — продолжал он, обращаясь к факельщику, — проводи пилигрима в южную келью. Какова любезность, такова и благодарность. Спокойной ночи, сэр пилигрим.

— Спокойной ночи, и награди вас пресвятая дева, — невозмутимо отвечал пилигрим и

последовал за своим провожатым.

В небольшой, освещённой простым железным фонарём прихожей, откуда несколько дверей вели в разные стороны, их остановила горничная леди Ровены, которая повелительным тоном объявила, что её госпожа желает поговорить с пилигримом, и, взяв факел из рук Энвольда и велев ему подождать своего возвращения, она подала знак пилигриму следовать за ней. По-видимому, пилигрим считал неприличным отклонить это приглашение, как отклонил предыдущее; по крайней мере он повиновался без всяких возражений, хотя и казалось, что он был удивлён таким приказанием.

Небольшой коридор и лестница, сложенная из толстых дубовых брёвен, привели его в комнату Ровены, грубое великолепие которой соответствовало почтительному отношению к ней хозяина дома. Все стены были завешены вышивками, на которых разноцветными шелками с примесью золотых и серебряных нитей были изображены различные эпизоды псовой и соколиной охоты. Постель под пурпурным пологом была накрыта богато вышитым покрывалом. На стульях лежали цветные подушки; перед одним стулом, более высоким, чем все остальные, стояла скамеечка из слоновой кости с затейливой резьбой.

Комната освещалась четырьмя восковыми факелами в серебряных подсвечниках. Однако

напрасно современная красавица стала бы завидовать роскошной обстановке саксонской принцессы. Стены комнаты были так плохо проконопачены и в них были такие щели, что нарядные драпировки вздувались от ночного ветра. Жалкое подобие ширм защищало факелы от сквозняка, но, несмотря на это, их пламя постоянно колебалось от ветра, как развёрнутое знамя военачальника. Конечно, в убранстве комнаты чувствовалось богатство и даже некоторое изящество; но комфорта не было, а так как в те времена о нём не имели представления, то и отсутствие его не ощущалось.

Три горничные, стоя за спиной леди Ровены, убирали на ночь её волосы. Сама она сидела на высоком, похожем на трон стуле. Весь её вид и манеры были таковы, что, казалось, она родилась на свет для преклонения. Пилигрим сразу признал её право на это, склонив перед ней колени.

— Встань, странник, — сказала она приветливо, — заступник отсутствующих достоин ласкового приёма со стороны каждого, кто дорожит истиной и чтит мужество.

Потом, обратясь к своей свите, она сказала:

— Отойдите все, кроме Эльгиты. Я желаю побеседовать со святым пилигримом.

Девушки отошли в другой конец комнаты и сели на узкую скамью у самой стены, где

оставались неподвижны и безмолвны, как статуи, хотя свободно могли бы шептаться, не мешая разговору их госпожи со странником.

Леди Ровена помолчала с минуту, как бы не зная, с чего начать, потом сказала:

— Пилигрим, сегодня вечером вы произнесли одно имя. Я хочу сказать, — продолжала она с усилием, — имя Айвенго; по законам природы и родства это имя должно было бы встретить более тёплый и благосклонный отклик в здешнем доме; но таковы странные превратности судьбы, что хотя у многих сердце дрогнуло при этом имени, но только я решаюсь вас спросить, где и в каких условиях оставили вы того, о ком упомянули. Мы слышали, что он задержался в Палестине из-за болезни и что после ухода оттуда английского войска он подвергся преследованиям со стороны французской партии, а нам известно, что к этой же партии принадлежат и храмовники.

— Я мало знаю о рыцаре Айвенго, — смущённо ответил пилигрим, — но я хотел бы знать больше, раз вы интересуетесь его судьбой. Кажется, он избавился от преследований своих врагов в Палестине и собирался возвратиться в Англию. Вам, леди, должно быть известно лучше, чем мне, есть ли у него здесь надежда на счастье.

Леди Ровена глубоко вздохнула и спросила, не может ли пилигрим сказать, когда именно следует

ожидать возвращения рыцаря Айвенго на родину, а также не встретит ли он больших опасностей в пути.

Пилигрим ничего не мог сказать относительно времени возвращения Айвенго; что же касается второго вопроса леди Ровены, пилигрим уверил её, что путешествие может быть безопасным, если ехать через Венецию и Геную, а оттуда — через Францию и Англию.

— Айвенго, — сказал он, — так хорошо знает язык и обычаи французов, что ему ничто не угрожает в этой части его пути.

— Дай бог, — сказала леди Ровена, — чтобы он доехал благополучно и был в состоянии принять участие в предстоящем турнире, где всё рыцарство здешней страны собирается показать своё искусство и отвагу. Если приз достанется Ательстану Конингсбургскому, Айвенго может услышать недобрые вести по возвращении в Англию. Скажите мне, странник, как он выглядел, когда вы его видели в последний раз? Не уменьшил ли недуг его телесные силы и красоту?

— Он похудел и стал смуглее с тех пор, как прибыл в Палестину с острова Кипра в свите Ричарда Львиное Сердце. Мне казалось, что лицо его омрачено глубокой печалью. Но я не подходил к нему, потому что незнаком с ним.

— Боюсь, — молвила Ровена, — то, что он

увидит на родине, не стонит с его чела мрачной тени... Благодарю, добрый пилигрим, за вести о друге моего детства. Девушки, — обратилась она к служанкам, — подайте этому святому человеку вечерний кубок. Пора дать ему покой, я не хочу его задерживать долее.

Одна из девушек принесла серебряный кубок горячего вина с пряностями, к которому Ровена едва прикоснулась губами, после чего его подали пилигриму. Он низко поклонился и отпил немного.

— Прими милостыню, друг, — продолжала леди Ровена, подавая ему золотую монету. — Это — знак моего уважения к твоим тяжким трудам и к святыням, которые ты посетил.

Пилигрим принял дар, ещё раз низко поклонился и вслед за Эльгитой покинул комнату.

В коридоре его ждал слуга Энвольд. Взяв факел из рук служанки, Энвольд поспешно и без всяких церемоний повёл гостя в пристройку, где целый ряд чуланов служил для ночлега низшему разряду слуг и пришельцев простого звания.

— Где тут ночует еврей? — спросил пилигрим.

— Нечестивый пёс проведёт ночь рядом с вашим преподобием, — отвечал Энвольд. — Святой Дунстан, ну и придётся же после него скоблить и чистить этот чулан, чтобы он стал пригодным для христианина!

— А где спит Гурт, свинопас? — осведомился странник.

— Гурт, — отвечал слуга, — спит в том чулане, что по правую руку от вас, а еврей — по левую, держитесь подальше от сына этого неверного племени. Вам бы дали более почётное помещение, если бы вы приняли приглашение Освальда.

— Ничего, мне и здесь будет хорошо, — сказал пилигрим.

С этими словами он вошёл в отведённый ему чулан и, приняв факел из рук слуги, поблагодарил его и пожелал спокойной ночи. Притворив дверь своей кельи, он воткнул факел в деревянный подсвечник и окинул взглядом свою спальню, всю обстановку которой составляли грубо сколоченный деревянный стул и заменявший кровать плоский деревянный ящик, наполненный чистой соломой, поверх которой были разостланы две или три овечьи шкуры.

Пилигрим потушил факел, не раздеваясь растянулся на этом грубом ложе и уснул или по крайней мере лежал неподвижно до тех пор, пока первые лучи восходящего солнца не заглянули в маленькое решётчатое окошко, сквозь которое и свет и свежий воздух проникали в его келью. Тогда он встал, прочитал утренние молитвы, поправил на себе одежду и, осторожно отворив дверь, вошёл к

еврею.

Исаак тревожно спал на такой же точно постели, на какой провёл ночь пилигрим. Все части одежды, которые снял накануне вечером, он навалил на себя или под себя, чтобы их не стащили во время сна. Лицо его выражало мучительное беспокойство; руки судорожно подёргивались, как бы отбиваясь от страшного призрака; он бормотал и издавал какие-то восклицания на еврейском языке, перемешивая их с целыми фразами на местном наречии; среди них можно было разобрать следующие слова: «Ради бога Авраамова, пощадите несчастного старика! Я беден, у меня нет денег, можете заковать меня в цепи, раздрать на части, но я не могу исполнить ваше желание».

Пилигрим не стал дожидаться пробуждения Исаака и слегка дотронулся до него концом своего посоха. Это прикосновение, вероятно, связалось в сознании спящего с его сном: старик вскочил, волосы его поднялись дыбом, острый взгляд чёрных глаз впился в стоявшего перед ним странника, выражая дикий испуг и изумление, пальцы судорожно вцепились в одежду, словно когти коршуна.

— Не бойся меня, Исаак, — сказал пилигрим, — я пришёл к тебе как друг.

— Награди вас бог Израиля, — сказал еврей, немного успокоившись. — Мне приснилось... Но

будь благословен праотец Авраам — то был сон.

Потом, очнувшись, он спросил обычным своим голосом:

— А что же угодно вашей милости от бедного еврея в такой ранний час?

— Я хотел тебе сказать, — отвечал пилигрим, что, если ты сию же минуту не уйдёшь из этого дома и не постарайшься отъехать как можно дальше и как можно скорее, с тобой может приключиться в пути большая беда.

— Святой отец, — воскликнул Исаак, — да кто захочет напасть на такого ничтожного бедняка, как я?

— Это тебе виднее, — сказал пилигрим, — но знай, что, когда рыцарь Храма вчера вечером проходил через зал, он обратился к своим мусульманским невольникам на сарацинском языке, который я хорошо знаю, и приказал им сегодня поутру следить за тем, куда поедет еврей, схватить его, когда он подальше отъедет от здешней усадьбы, и отвести в замок Филиппа де Мальвуазена или Реджинальда Фрон де Бефа.

Невозможно описать ужас, овладевший евреем при этом известии; казалось, он сразу потерял всякое самообладание. Каждый мускул, каждый нерв ослабли, руки повисли, голова поникла на грудь, ноги подкосились, и он рухнул к ногам пилигрима, как бы раздавленный

неведомыми силами; это был не человек, поникший в мольбе о сострадании, а скорее безжизненное тело.

— Бог Авраама! — воскликнул он. Не подымая седой головы с полу, он сложил свои морщинистые руки и воздел их вверх. — О Моисей! О блаженный Аарон! Этот сон приснился мне не даром, и видение посетило меня не напрасно! Я уже чувствую, как они клещами тянут из меня жилы. Чувствую зубчатые колёса по всему телу, как те острые пилы, бороны и секиры железные, что полосовали жителей Раббы и чад Аммоновых.

— Встань, Исаак, и выслушай, что я тебе скажу, — с состраданием, но не без презрения сказал пилигрим, глядя на его муки. — Мне понятен твой страх: принцы и дворяне безжалостно расправляются с твоими братьями, когда хотят выжать из них деньги. Но встань, я тебя научу, как избавиться от беды. Уходи из этого дома сию же минуту, пока не проснулись слуги, — они крепко спят после вчерашней попойки.

Я провожу тебя тайными тропинками через лес, который мне так же хорошо известен, как и любому из лесных сторожей. Я тебя не покину, пока не сдам с рук на руки какому-нибудь барону или помещику, едущему на турнир; по всей вероятности, у тебя найдутся способы обеспечить себе его благоволение.

Как только у Исаака появилась надежда на спасение, он стал приподниматься, всё ещё оставаясь на коленях; откинув назад свои длинные седые волосы и расправив бороду, он устремил пытливые чёрные глаза на пилигрима. В его взгляде отразились страх, и надежда, и подозрение.



Но при последних словах пилигрима ужас вновь овладел им, он упал ничком и воскликнул:

— У меня найдутся средства, чтобы обеспечить себе благоволение! Увы! Есть только один способ заслужить благоволение христианина, но как получить его бедному еврею, если вымогательства довели его до нищеты Лазаря? Ради бога, молодой человек, не выдавай меня! Ради общего небесного отца, всех нас создавшего, евреев и язычников, сынов Израиля и сынов Измаила, не предавай меня. — Снова подозрительность взяла верх над остальными его чувствами, и он воскликнул: — У меня нет таких средств, чтобы обеспечить доброе желание христианского странника, даже если он потребует всё, до последнего пенни.

При этих словах он с пламенной мольбой ухватился за плащ пилигрима.

— Успокойся, — сказал странник. — Если бы ты имел все сокровища своего племени, зачем мне обижать тебя. В этой одежде я обязан соблюдать обет бедности, и если променяю её, то единственно на кольчугу и боевого коня. Впрочем, не думай, что я навязываю тебе своё общество, оставайся здесь, если хочешь. Седрик Сакс может оказать тебе покровительство.

— Увы, нет! — воскликнул еврей. — Не позволит он мне ехать в своей свите. Саксонец и норманн одинаково презирают бедного еврея. А одному проехать по владениям Филиппа де

Мальвуазена или Реджинальда Фрон де Бефа... Нет! Добрый юноша, я поеду с тобой! Поспешим! Препояшем чресла, бежим! Вот твой посох... Скорее, не медли!

— Я не медлю, — сказал пилигрим, уступая настойчивости своего компаньона, — но мне надо прежде всего найти средство отсюда выбраться. Следуй за мной!

Он вошёл в соседнюю каморку, где, как уже известно читателю, спал Гурт.

— Вставай, Гурт, — сказал пилигрим, — вставай скорее. Отопри калитку у задних ворот и выпусти нас отсюда.

Обязанности Гурта, которые в наше время находятся в пренебрежении, в ту пору в саксонской Англии пользовались таким же почётом, каким Эмей пользовался в Итаке. Гурту показалось обидным, что пилигрим заговорил с ним в таком повелительном тоне.

— Еврей уезжает из Ротервуда, — надменно молвил он, приподнявшись на одном локте и не двигаясь с места, — а с ним за компанию и пилигрим собрался.

— Я бы скорее подумал, — сказал Вамба, заглянувший в эту минуту в чулан, — что еврей с окороком ветчины улизнёт из усадьбы.

— Как бы то ни было, — сказал Гурт, снова опуская голову на деревянный обрубок, служивший

ему вместо подушки, — и еврей и странник могут подождать, пока растворят главные ворота. У нас не полагается, чтобы гости уезжали тайком, да ещё в такой ранний час.

— Как бы то ни было, — сказал пилигрим повелительно, — я думаю, что ты не откажешь мне в этом.

С этими словами он нагнулся к лежавшему свинопасу и прошептал ему что-то на ухо по-саксонски. Гурт мгновенно вскочил на ноги, а пилигрим, подняв палец в знак того, что надо соблюдать осторожность, прибавил:

— Гурт, берегись! Ты всегда был осмотрителен. Слышишь, отопри калитку. Остальное скажу после.

Гурт повиновался с необычайным проворством, а Вамба и еврей пошли вслед за ним, удивляясь внезапной перемене в поведении свинопаса.

— Мой мул! Где же мой мул? — воскликнул еврей, как только они вышли из калитки.

— Приведи сюда его мула, — сказал пилигрим, — да и мне достань тоже мула, я поеду с ним рядом, пока не выберемся из здешних мест. После я доставлю мула в целости кому-нибудь из свиты Седрика в Ашби. А ты сам... — Остальное пилигрим сказал Гурту на ухо.

— С величайшей радостью всё исполню, —

отвечал Гурт и убежал исполнять поручение.

— Желал бы я знать, — сказал Вамба, когда ушёл его товарищ, — чему вас, пилигримов, учат в Святой Земле.

— Читать молитвы, дурак, — отвечал пилигрим, — а ещё каяться в грехах и умерщвлять свою плоть постом и долгой молитвой.

— Нет, должно быть чему-нибудь покрепче этого, — сказал шут. — Виданное ли дело, чтобы покаяние и молитвы заставили Гурта сделать одолжение, а за пост и воздержание он дал бы кому-нибудь мула! Думаю, что ты мог бы с таким же успехом толковать о воздержании и молитвах его любимому чёрному борову.

— Эх, ты! — молвил пилигрим. — Сейчас видно, что ты саксонский дурак, и больше ничего.

— Это ты правильно говоришь, — сказал шут, — будь я норманн, как и ты, вероятно на моей улице был бы праздник, а я сам слыл бы мудрецом.

В эту минуту на противоположном берегу рва показался Гурт с двумя мулами. Путешественники перешли через ров по узкому подъёмному мосту, шириной в две доски, размер которого соответствовал ширине калитки и того узкого прохода, который был устроен во внешней ограде и выходил прямо в лес. Как только они достигли того берега, еврей поспешил подсунуть под седло своего мула мешочек из просмолённого синего холста,

который он бережно вытащил из-под хитона, бормоча всё время, что это «перемена белья, только одна перемена белья, больше ничего». Потом взобрался в седло с таким проворством и ловкостью, каких нельзя было ожидать в его преклонные годы, и, не теряя времени, стал расправлять складки своего плаща.

Пилигрим сел на мула менее поспешно и, уезжая, протянул Гурту руку, которую тот поцеловал с величайшим почтением. Свинопас стоял, глядя вслед путешественникам, пока они не скрылись в глубине леса. Наконец голос Вамбы вывел его из задумчивости.

— Знаешь ли, друг мой Гурт, — сказал шут, — сегодня ты удивительно вежлив и сверх меры благочестив. Вот бы мне стать аббатом или босоногим пилигримом, тогда и я попользовался бы твоим рвением и усердием. Но, конечно, я бы захотел большего, чем поцелуй руки.

— Ты неглупо рассудил, Вамба, — отвечал Гурт, — только ты судишь по наружности; впрочем, и умнейшие люди делают то же самое... Ну, мне пора приглядеть за стадом.

С этими словами он воротился в усадьбу, а за ним поплёлся и шут.

Тем временем путешественники торопились и ехали с такой скоростью, которая выдавала крайний испуг еврея: в его годы люди обычно не любят

быстрой езды. Пилигрим, ехавший впереди, по-видимому отлично знал все лесные тропинки и нарочно держался окольных путей, так что подозрительный Исаак не раз подумывал — уж не собирается ли паломник завлечь его в какую-нибудь ловушку.

Впрочем, его опасения были простительны, если принять во внимание, что в те времена не было на земле, в воде и воздухе ни одного живого существа, только, пожалуй, за исключением летающих рыб, которое подвергалось бы такому всеобщему, непрерывному и безжалостному преследованию, как еврейское племя. По малейшему и абсолютно безрассудному требованию, так же как и по нелепейшему и совершенно неосновательному обвинению, их личность и имущество подвергались ярости и гневу. Норманны, саксонцы, датчане, британцы, как бы враждебно ни относились они друг к другу, сходились на общем чувстве ненависти к евреям и считали прямой религиозной обязанностью всячески унижать их, притеснять и грабить.

Короли норманнской династии и подражавшая им знать, движимые самыми корыстными побуждениями, неустанно теснили и преследовали этот народ. Всем известен рассказ о том, что принц Джон, заключив какого-то богатого еврея в одном из своих замков, приказал каждый день вырывать у

него по зубу. Это продолжалось до тех пор, пока несчастный израильтянин не лишился половины своих зубов, и только тогда он согласился уплатить громадную сумму, которую принц стремился у него вытянуть. Наличные деньги, которые были в обращении, находились главным образом в руках этого гонимого племени, а дворянство не стеснялось следовать примеру своего монарха, вымогая их всеми мерами принуждения, не исключая даже пыток. Пассивная смелость, вселяемая любовью к приобретению, побуждала евреев пренебрегать угрозой различных несчастий, тем более что они могли извлечь огромные прибыли в столь богатой стране, как Англия. Несмотря на всевозможные затруднения и особую налоговую палату (о которой уже упоминалось), называемую еврейским казначейством, созданную именно для того, чтобы обирать и причинять им страдания, евреи увеличивали, умножали и накапливали огромные средства, которые они передавали из одних рук в другие посредством векселей; этим изобретением коммерция обязана евреям. Векселя давали им также возможность перемещать богатства из одной страны в другую, так что, когда в одной стране евреям угрожали притеснения и разорения, их сокровища оставались сохранными в другой стране. Упорством и жадностью евреи до некоторой степени

сопротивлялись фанатизму и тирании тех, под властью которых они жили; эти качества как бы увеличивались соразмерно с преследованиями и гонениями, которым они подвергались; огромные богатства, обычно приобретаемые ими в торговле, часто ставили их в опасное положение, но и служили им на пользу, распространяя их влияние и обеспечивая им некоторое покровительство и защиту. Таковы были условия их существования, под влиянием которых складывался их характер: наблюдательный, подозрительный и боязливый, но в то же время упорный, непримиримый и изобретательный в избежании опасностей, которым их подвергали.

Путники долго ехали молча окольными тропинками леса, наконец пилигрим прервал молчание.

— Видишь старый, засохший дуб? — сказал он. — Это — граница владений Фрон де Бефа. Мы давно уже миновали земли Мальвуазена. Теперь тебе нечего опасаться погони.

— Да сокрушатся колёса их колесниц, — сказал еврей, — подобно тому как сокрушились они у колесниц фараоновых! Но не покидай меня, добрый пилигрим. Вспомни о свирепом храмовнике и его сарацинских рабах. Они не посмотрят ни на границы, ни на усадьбы, ни на звание владельца.

— С этого места наши дороги должны

разойтись. Не подобает человеку моего звания ехать рядом с тобой дольше, чем этого требует прямая необходимость. К тому же какой помощи ты ждёшь от меня, мирного богомольца, против двух вооружённых язычников?

— О добрый юноша! — воскликнул еврей. — Ты можешь заступиться за меня, я сумею наградить тебя — не деньгами, у меня их нет, помоги мне отец Авраам.

— Я уже сказал тебе, — прервал его пилигрим, — что ни денег, ни наград твоих мне не нужно. Проводить тебя я могу. Даже сумею защитить тебя, так как оказать покровительство еврею против сарацин едва ли запрещается христианину. А потому я провожу тебя до места, где ты можешь добыть себе подходящих защитников. Мы теперь недалеко от города Шеффилда. Там ты без труда отыщешь многих соплеменников и найдёшь у них приют.

— Да будет над тобой благословение Иакова, добрый юноша! — сказал еврей. — В Шеффилде я найду пристанище у моего родственника Зарета, а там поищу способов безопасно проехать дальше.

— Хорошо, — молвил пилигрим. — Значит, в Шеффилде мы расстанемся. Через полчаса мы подъедем к этому городу.

В течение этого получаса оба не произнесли ни одного слова; пилигрим, быть может, считал для

себя унижительным разговаривать с евреем, когда в этом не было необходимости, а тот не смел навязываться с беседой человеку, который совершил странствие к гробу господню и, следовательно, был отмечен некоторой святостью. Остановившись на вершине отлогого холма, пилигрим указал на город Шеффилд, раскинувшийся у его подножия, и сказал:

— Вот где мы расстанемся.

— Но не прежде, чем бедный еврей выразит вам свою признательность, хоть я и не осмеливаюсь просить вас заехать к моему родственнику Зарету, который помог бы мне отплатить вам за доброе дело, — сказал Исаак.

— Я уже говорил тебе, — сказал пилигрим, — что никакой награды не нужно. Если в длинном списке твоих должников найдётся какой-нибудь бедняк христианин и ты ради меня избавишь его от оков и долговой тюрьмы, я сочту свою услугу вознаграждённой.

— Постой! — воскликнул Исаак, хватая его за полу. — Мне хотелось бы сделать больше, чем это, для тебя самого. Богу известно, как я беден... Да, Исаак — нищий среди своих соплеменников. Но прости, если я возьмусь угадать то, что в настоящую минуту для тебя всего нужнее...

— Если бы ты и угадал, что мне всего нужнее, — сказал пилигрим, — ты всё равно не мог

бы доставить мне это, хотя бы ты был настолько же богат, насколько представляешься бедным.

— Представляюсь бедным? — повторил еврей. — О, поверь, я сказал правду: меня разорили, ограбили, я кругом в долгу. Жестокие руки лишили меня всех моих товаров, отняли деньги, корабли и всё, что я имел... Но я всё же знаю, в чём ты нуждаешься, и, быть может, сумею доставить тебе это. Сейчас ты больше всего хочешь иметь коня и вооружение.

Пилигрим невольно вздрогнул и, внезапно обернувшись к нему, торопливо спросил:

— Как ты это угадал?

— Всё равно, как бы я ни угадал, лишь бы догадка моя была верна. Но раз я знаю, что тебе нужно, я всё достану.

— Прими же во внимание моё звание, мою одежду, мои обеты...

— Знаю я вас, христиан, — ответил еврей. — Знаю и то, что даже самые знатные среди вас в суеверном покаянии берут иногда страннический посох и пешком идут в дальние страны поклониться могилам умерших.

— Не кощунствуй! — сурово остановил его странник.

— Прости, — сказал Исаак. — Я выразился необдуманно. Но вчера вечером, да и сегодня поутру ты проронил несколько слов, которые,

подобно искрам, высекаемым кремнём, озарили для меня твоё сердце. Кроме того, под твоим странническим одеянием спрятаны рыцарская цепь и золотые шпоры. Они блеснули, когда ты наклонился к моей постели сегодня утром.

Пилигрим не мог удержаться от улыбки и сказал:

— А что, если бы и в твои одежды заглянуть такими же зоркими глазами, Исаак? Думаю, что и у тебя нашлось бы немало интересного.

— Что об этом толковать! — сказал еврей, меняясь в лице, и, поспешно вынув из сумки письменные принадлежности, он поставил на седло свою жёлтую шапку и, расправив на ней листок бумаги, начал писать, как бы желая этим прекратить щекотливый разговор. Дописав письмо, он, лукаво сощурился, вручил его пилигриму со словами:

— В городе Лестере всем известен богатый еврей Кирджат Джайрам из Ломбардии. Передай ему это письмо. У него есть теперь на продажу шесть рыцарских доспехов миланской работы — худший из них годится и для царской особы; есть у него и десять жеребцов — на худшем из них не стыдно выехать и самому королю, если б он отправился на битву за свой трон. По этой записке он даст тебе на выбор любые доспехи и боевого коня. Кроме того, он снабдит тебя всем нужным для

предстоящего турнира. Когда минует надобность, возврати ему в целости товар или же, если сможешь, уплати сполна его стоимость.

— Но, Исаак, — сказал пилигрим улыбаясь, — разве ты не знаешь, что если рыцаря вышибут из седла во время турнира, то его конь и вооружение делаются собственностью победителя? Такое несчастье и со мной может случиться, а уплатить за коня и доспехи я не могу.

Еврей, казалось, был поражён мыслью о такой возможности, но, собрав всё своё мужество, он поспешно ответил:

— Нет, нет, нет. Это невозможно, я и слышать не хочу об этом. Благословение отца нашего будет с тобою... И копьё твоё будет одарено такою же мощной силой, как жезл Моисеев.

Сказав это, он поворотил мула в сторону, но тут пилигрим сам поймал его за плащ и придержал:

— Нет, постой, Исаак, ты ещё не знаешь, чем рискуешь. Может случиться, что коня убьют, а панцирь изрубят, потому что я не буду щадить ни лошади, ни человека. К тому же сыны твоего племени ничего не делают даром. Чем-нибудь же придётся заплатить за утрату имущества.

Исаак согнулся в седле, точно от боли, но великодушие, однако, взяло верх над чувствами более для него привычными.

— Нужды нет, — сказал он, — всё равно.

Пусти меня. Если случатся убитки, ты за них не будешь отвечать. Кирджат Джайрам простит тебе этот долг ради Исаака, своего родственника, которого ты спас. Прощай и будь здоров. Однако послушай, добрый юноша, — продолжал он, ещё раз обернувшись, — не суйся ты слишком вперёд, когда начнётся эта сумятица. Я это не с тем говорю, чтобы ты берёг лошадь и панцирь, но единственно ради сохранения твоей жизни и тела.

— Спасибо за попечение обо мне, — отвечал пилигрим улыбаясь, — я воспользуюсь твоей любезностью и во что бы то ни стало постараюсь вознаградить тебя.

Они расстались и разными дорогами направились в город Шеффилд.

Глава VII

*Идёт со свитой рыцарей отряд,
На каждом — пёстрый щегольской
наряд.*

*Несёт один оруженосец щит,
Со шлемом — этот, тот с копьём
спешит;*

Нетерпеливый конь копытом бьёт

И золотые удила грызёт;

В руках напильники и молотки

У оружейников — они ловки:

Щиты они починят и дровки.

*Толпа богатых именов идёт,
С дубинками в руках валит простой
народ.*

«Паламон и Арсит»

В ту пору английский народ находился в довольно печальном положении. Ричард Львиное Сердце был в плену у коварного и жестокого герцога Австрийского. Даже место заключения Ричарда было неизвестно; большинство его подданных, подвергавшихся в его отсутствие тяжёлому угнетению, ничего не знало о судьбе короля.

Принц Джон, который был в союзе с французским королём Филиппом — злейшим врагом Ричарда, использовал всё своё влияние на герцога Австрийского, чтобы тот как можно дольше держал в плену его брата Ричарда, который в своё время оказал ему столько благодеяний.

Пользуясь этим временем, Джон вербовал себе сторонников, намереваясь в случае смерти Ричарда оспаривать престол у законного наследника — своего племянника Артура, герцога Британского, сына его старшего брата, Джеффри Плантагенета. Впоследствии, как известно, он осуществил своё намерение и незаконно захватил власть. Ловкий интриган и кутила, принц Джон без труда привлёк на свою сторону не только тех, кто

имел причины опасаться гнева Ричарда за преступления, совершённые во время его отсутствия, но и многочисленную ватагу «отчаянных беззаконников» — бывших участников крестовых походов. Эти люди вернулись на родину, обогатившись всеми пороками Востока, но обнищав, и теперь только и ждали междоусобной войны, чтобы поправить свои дела.

К числу причин, вызывавших общее беспокойство и тревогу, нужно отнести также и то обстоятельство, что множество крестьян, доведённых до отчаяния притеснениями феодалов и беспощадным применением законов об охране лесов, объединялись в большие отряды, которые хозяйничали в лесах и пустошах, ничуть не боясь местных властей. В свою очередь, дворяне, разыгрывавшие роль самодержавных властелинов, собирали вокруг себя целые банды, мало чем отличавшиеся от разбойничьих шак.

Чтобы содержать эти банды и вести расточительную и роскошную жизнь, чего требовали их гордость и тщеславие, дворяне занимали деньги у евреев под высокие проценты. Эти долги разъедали их состояние, а избавиться от них удавалось путём насилия над кредиторами. Не мудрено, что при таких тяжёлых условиях существования английский народ испытывал великие бедствия в настоящем и имел все

основания опасаться ещё худших в будущем. В довершение всех зол по всей стране распространилась какая-то опасная заразная болезнь. Найдя для себя благоприятную почву в тяжёлых условиях жизни низших слоёв общества, она унесла множество жертв, а оставшиеся в живых нередко завидовали покойникам, избавленным от надвигавшихся бед.

Но, несмотря на эти несчастья, все — богатые и бедные, простолюдины и дворяне — с одинаковой жадностью стремились на турнир. Это было самое интересное и великолепнейшее из зрелищ того времени, и население относилось к нему с такой же страстью, с какой полуголодный обитатель Мадрида, вместо того чтобы купить еды для своей семьи, тратит всё, до последнего реала, чтобы насладиться зрелищем боя быков. Никакие обязанности, никакие немощи не в силах были удержать старых и молодых от такого спектакля. Прошёл слух, что боевая потеха, назначенная близ города Ашби, в графстве Лестерском, произойдёт между прославленными рыцарями в присутствии принца Джона, что вызвало ещё больший интерес, и наутро того дня, когда назначено было начало состязания, бесчисленное множество людей всех званий и сословий устремилось толпами к месту боевой потехи.

Место турнира было чрезвычайно живописно.

У опушки большого леса, в расстоянии одной мили от города Ашби, расстилалась покрытая превосходным зелёным дёрном обширная поляна, окаймлённая с одной стороны густым лесом, а с другой — редкими старыми дубами. Отлогие склоны её образовывали в середине широкую и ровную площадку, обнесённую крепкой оградой. Ограда имела форму четырехугольника с закруглёнными для удобства зрителей углами.

Для въезда бойцов на арену в северной и южной стенах ограды были устроены ворота, настолько широкие, что двое всадников могли проехать в них рядом. У каждого ворот стояли два герольда, шесть трубачей и шесть вестников и, кроме того, сильный отряд солдат для поддержания порядка. Герольды обязаны были проверять звание рыцарей, желавших принять участие в турнире.

С наружной стороны южных ворот на небольшом холме стояло пять великолепных шатров, украшенных флагами коричневого и чёрного цветов; таковы были цвета, выбранные рыцарями — организаторами турнира. Шнуры на всех пяти шатрах были тех же цветов. Перед каждым шатром был вывешен щит рыцаря, которому принадлежал шатёр, а рядом со щитом стоял оруженосец, наряжённый дикарём, или фавном, или каким-нибудь другим сказочным существом, смотря по вкусам своего хозяина.

Средний шатёр, самый почётный, был предоставлен Бриану де Буагильберу. Молва о его необычайном искусстве во всех рыцарских упражнениях, а также его близкие связи с рыцарями, затеявшими настоящее состязание, побудили устроителей турнира не только принять его в свою среду, но даже избрать своим предводителем, несмотря на то, что он совсем недавно прибыл в Англию. Рядом с его шатром с одной стороны были расположены шатры Реджинальда Фрон де Бефа и Филиппа де Мальвуазена, а с другой — Гуго де Гранмениля, знатного барона, один из предков которого был лордом-сенешалем Англии во времена Вильгельма Завоевателя и его сына Вильгельма Рыжего. Пятый шатёр принадлежал иоанниту Ральфу де Випонту, крупному землевладельцу из местечка Гэсер, расположенного неподалёку от Ашби де ла Зуш. Площадка с шатрами была обнесена крепким частоколом и соединялась с ареной широким и отлогим спуском, также огороженным. Вдоль частокола стояла стража.

За северными воротами арены на такой же огороженной площадке помещалась палатка, предназначенная для рыцарей, которые пожелали бы выступить против зачинщиков турнира. Здесь были приготовлены всевозможные яства и напитки, а рядом расположились кузнецы, оружейники и иные мастера и прислужники, готовые во всякую

минуту оказать бойцам надлежащие услуги.

Вдоль ограды были устроены особые галереи. Эти галереи были увешаны драпировками и устланы коврами. На коврах были разбросаны подушки, чтобы дамы и знатные зрители могли здесь расположиться с возможно большими удобствами. Узкое пространство между этими галереями и оградой было предоставлено мелкопоместным фермерам, так называемым иоменам, так что эти места можно приравнять к партеру наших театров. Что же касается простонародья, то оно должно было размещаться на дерновых скамьях, устроенных на склонах ближайших холмов, что давало зрителям возможность созерцать желанное зрелище поверх галерей и отлично видеть всё, что совершалось на арене.

Кроме того, несколько сот человек уселось на ветвях деревьев, окаймлявших поляну; даже колокольня ближайшей сельской церкви была унижена зрителями.

По самой середине восточной галереи, как раз против центра арены, было устроено возвышение, где под балдахином с королевским гербом стояло высокое кресло вроде трона. Вокруг этой почётной ложи толпились пажи, оруженосцы, стража в богатой одежде, и по всему было видно, что она предназначалась для принца Джона и его свиты.

Напротив королевской ложи, в центре западной галереи, возвышался другой помост, украшенный ещё пестрее, хотя не так роскошно. Там также был трон, обитый алой и зелёной тканью, он был окружён множеством пажей и молодых девушек, самых красивых, каких могли подобрать, все они были нарядно одеты в причудливые костюмы, тоже зелёного и алого цветов. Ложа была убрана флагами и знамёнами, на которых были изображены пронзённые сердца, пылающие сердца, истекающие кровью сердца, луки, колчаны со стрелами и тому подобные эмблемы торжества Купидона. Тут же красовалась пышная надпись, гласившая, что этот почётный трон предназначен для королевы любви и красоты. Но кто будет этой королевой, было неизвестно.

А тем временем зрители разных званий толпами направлялись к арене. Уже немало ссорились из-за того, что многие пытались занять неподобающие им места. В большинстве случаев споры довольно бесцеремонно разрешались стражей, которая для убеждения наиболее упорных спорщиков пускала в ход рукояти своих мечей и древки секир. Когда же препирательства из-за мест происходили между более важными лицами, их претензии решались двумя маршалами ратного поля: Уильямом де Вивилем и Стивенном де Мартивалем. Эти маршалы, вооружённые с головы

до ног, разъезжали взад и вперёд по арене, поддерживая среди публики строгий порядок.

Мало-помалу галереи наполнились рыцарями и дворянами; их длинные мантии тёмных цветов составляли приятный контраст с более светлыми и весёлыми нарядами дам, которых здесь было ещё больше, чем мужчин, хотя казалось бы, что такие кровавые и жестокие забавы малопривлекательны для прекрасного пола. Нижние галереи и проходы вскоре оказались битком набиты зажиточными иоменами и мелкими дворянами, которые по бедности или незначительному положению в свете не решались занять более почётные места. Само собою разумеется, что именно в этой части публики чаще всего происходили недоразумения из-за прав на первенство.

— Нечестивый пёс! — восклицал пожилой человек, потёртая одежда которого свидетельствовала о бедности, а меч на боку, кинжал за поясом и золотая цепь на шее говорили о претензиях на знатность. — Сын волчицы, ублюдок! Как ты смеешь толкать христианина, да ещё и норманна из благородной дворянской фамилии Мондидье!

Эти резкие слова были обращены не к кому другому, как к нашему знакомому, Исааку, который, на этот раз богато разодетый, в великолепном плаще, протискивался сквозь толпу,

стараясь найти место в переднем ряду нижней галереи для своей дочери, красавицы Ревекки. Она приехала к нему в Ашби и теперь, уцепившись за его руку, тревожно оглядывалась кругом, испуганная общим недовольством, вызванным, по-видимому, поведением её отца. Мы видели, что Исаак бывал труслив в некоторых случаях, но здесь он знал, что ему бояться нечего. При таком стечении народа ни один из самых корыстных и злобных его притеснителей не решился бы его обидеть. На подобных сборищах евреи находились под защитой общих законов, а если этого было недостаточно, в толпе дворян всегда оказывалось несколько знатных баронов, которые из личных выгод были готовы за них вступить. Кроме того, Исааку было хорошо известно, что принц Джон хлопочет о том, чтобы занять у богатых евреев в Йорке крупную сумму денег под залог драгоценностей и земельных угодий. Исаак сам имел близкое отношение к этому и отлично знал, как хотелось принцу поскорее его уладить. А потому он был уверен, что в случае неприятных столкновений принц непременно заступится за него.

Исаак смело протискивался вперёд и неосторожно толкнул норманского дворянина. Однако жалобы старика возбудили негодование окружающих. Рослый иомен в зелёном суконном

платье, с дюжиной стрел за поясом, с серебряным значком на груди и огромным луком в руке, резко повернулся, лицо его, потемневшее от загара и ветров как калёный орех, вспыхнуло гневом, и он посоветовал еврею запомнить, что хоть он и надулся, как паук, высасывая кровь своих несчастных жертв, но что пауков терпят, пока они смиренно сидят по углам, а как только они вылезут на свет — их давят. Его угрозы, резкий голос и суровый взгляд заставили еврея попятиться. Очень вероятно, что Исаак и убрался бы подальше от столь опасного соседства, если бы в эту минуту общее внимание не было отвлечено появлением на арене принца Джона и его многочисленной и весёлой свиты. Свита эта состояла частью из светских, частью из духовных лиц, столь же нарядно одетых и державших себя не менее развязно, чем их сотоварищи-миряне. В числе духовных был и приор из Жорво, в самом изящном костюме, какой по своему сану он мог себе позволить. мех и золото обильно украшали его одежду, а носки его сапог были загнуты так высоко, что перещеголяли и без того нелепую тогдашнюю моду. Они были такой величины, что подвязывались не к коленям, а к поясу, мешая всаднику вставить ногу в стремя. Впрочем, это не смущало галантного аббата. Быть может, он даже рад был случаю выказать в присутствии такой

многочисленной публики и в особенности дам своё искусство держаться на коне, обходясь без стремян. Остальная свита принца Джона состояла из его любимцев — начальников наёмного войска, нескольких баронов, распутной шайки придворных и рыцарей ордена Храма и иоаннитов.

Здесь не лишним будет заметить, что рыцари этих двух орденов считались врагами Ричарда: во время бесконечных распрей в Палестине между Филиппом Французским и английским королём они приняли сторону Филиппа. Всем было известно, что именно благодаря этим распрям все победы Ричарда над сарацинами оказались бесплодными, а его попытки взять Иерусалим закончились неудачей; плодом же завоёванной славы было только ненадёжное перемирие, заключённое с султаном Саладином. По тем же политическим соображениям, которые руководили их собратьями в Святой Земле, храмовники и иоанниты, жившие в Англии и Нормандии, присоединились к партии принца Джона, не имея причин желать ни возвращения Ричарда в Англию, ни воцарения его законного наследника, принца Артура.

Со своей стороны, принц Джон ненавидел и презирал уцелевшую саксонскую знать и старался при любом случае всячески её унижить. Он понимал, что саксонские феодалы вместе с остальным саксонским населением Англии

враждебно относятся к его проискам, опасаясь дальнейшего ограничения своих старинных прав, чего они могли ожидать от такого необузданного тирана, каким был принц Джон.

Окружённый своими приближёнными, принц Джон выехал на арену верхом на резвом коне серой масти и с соколом на руке. На нём был великолепный пурпурный с золотом костюм, а на голове — роскошная меховая шапочка, украшенная драгоценными камнями, из-под которой падали на плечи длинные локоны. Он ехал впереди, громко разговаривая и пересмеиваясь со своей свитой и дерзко, как это свойственно членам королевской фамилии, рассматривал красавиц, украшавших своим присутствием верхние галереи.

Даже те, кто замечал в наружности принца выражение разнузданной дерзости, крайнего высокомерия и полного равнодушия к чувствам других людей, не могли отрицать того, что он не лишён некоторой привлекательности, свойственной открытым чертам лица, правильным от природы и приученным воспитанием к выражению приветливости и любезности, которые легко принять за естественное простодушие и честность. Такое выражение лица часто и совершенно напрасно также принимают за признак мужественности и чистосердечия, тогда как под ними обычно скрываются беспечное равнодушие и

распущенность человека, сознающего себя, независимо от своих душевных качеств, стоящим выше других благодаря знатности происхождения, или богатства, или каким-нибудь иным случайным преимуществам.

Однако большинство зрителей не вдавалось в такие глубокие размышления. Для них достаточно было увидеть великолепную меховую шапочку принца Джона, его пышную мантию, отороченную дорогими соболями, его сафьяновые сапожки с золотыми шпорами и, наконец, ту грацию, с какой он управлял своим конём, чтобы прийти в восторг и приветствовать его громкими кликами.

Принц весело гарцевал вокруг арены. Внезапно внимание его было привлечено продолжавшейся суматохой, вызванной притязаниями Исаака на лучшее место. Зоркий взгляд Джона мигом разглядел еврея, но гораздо более приятное впечатление произвела на него красивая дочь Сиона, боязливо прильнувшая к руке своего старого отца.

И в самом деле, даже на взгляд такого строгого ценителя, каким был Джон, прекрасная Ревекка могла с честью выдержать сравнение с самыми знаменитыми английскими красавицами. Она была удивительно хорошо сложена, и восточный наряд не скрывал её фигуры. Жёлтый шёлковый тюрбан шёл к смуглому оттенку её кожи;

глаза блестели, тонкие брови выгибались горделивой дугой, белые зубы сверкали, как жемчуг, а густые чёрные косы рассыпались по груди и плечам, прикрытым длинной сямаррой из пурпурного персидского шёлка с вытканными по нему цветами всевозможных оттенков, спереди прикреплённой множеством золотых застёжек, украшенных жемчугом, — все вместе создавало такое чарующее впечатление, что Ревекка могла соперничать с любой из прелестнейших девушек, сидевших вокруг. Её платье было застёгнуто жемчужными запонками; три верхние запонки были расстёгнуты, так как день был жаркий, и на открытой шее было хорошо видно бриллиантовое ожерелье с подвесками огромной ценности; страусовое перо, прикреплённое к тюрбану алмазным аграфом, также сразу бросалось в глаза, и хотя горделивые дамы, сидевшие на верхней галерее, презрительно поглядывали на прелестную еврейку, втайне они завидовали её красоте и богатству.

— Клянусь лысиной Авраама, — сказал принц Джон, — эта еврейка — образец тех чар и совершенств, что сводили с ума мудрейшего из царей. Как ты думаешь, приор Эймер? Клянусь тем храмом мудрого Соломона, которого наш ещё более мудрый братец Ричард никак не может взять, она хороша, как сама возлюбленная в Песни Песней.

— Роза Сарона и Лилия Долин, — отвечал приор. — Однако, ваша светлость, вы не должны забывать, что она не более как еврейка.

— Эге! — молвил принц, не обратив никакого внимания на его слова.

— А вот и мой нечестивый толстосум... Маркиз червонцев и барон сребреников препирается из-за почётного места с оборванцами, у которых в карманах, наверно, не водится ни одного пенни. Клянусь святым Марком, мой денежный вельможа и его хорошенькая еврейка сейчас получат места на верхней галерее. Эй, Исаак, это кто такая? Кто она тебе, жена или дочь? Что это за восточная гурия, которую ты держишь под мышкой, точно это шкатулка с твоей казной?

— Это дочь моя Ревекка, ваша светлость, — отвечал Исаак с низким поклоном, нимало не смутившись приветствием принца, в котором сочетались насмешка и любезность.

— Ну, ты, мудрец! — сказал принц с громким хохотом, которому тотчас начали подобострастно вторить его спутники. — Но всё равно, дочь ли она тебе или жена, её следует чествовать, как то подобает её красоте и твоим заслугам... Эй, кто там сидит наверху? — продолжал он, окинув взглядом галерею. — Саксонские мужланы... Ишь как развалились. Выгнать их вон отсюда! Пускай потеснятся и дадут место моему князю

ростовщиков и его прекрасной дочери. Я покажу этим неучам, что лучшие места в синагоге они обязаны делить с теми, кому синагога принадлежит по праву!

Зрители, к которым была обращена эта грубая и оскорбительная речь, были Седрик Сакс со своими домашними и его союзник и родственник Ательстан Конингсбургский, который, как потомок последнего короля саксонской династии, пользовался величайшим почётом со стороны всех саксов, уроженцев северной Англии. Но вместе с царственной кровью своих предков Ательстан унаследовал и многие из их слабостей. Он был высокого роста, крепкого телосложения, в цвете лет, но его красивое лицо было так вяло, глаза смотрели так тупо и сонно, движения были так ленивы и он был так медлителен в своих решениях, что его прозвали Ательстаном Неповоротливым. Его друзья, а их было немало, и все они, так же как Седрик, были к нему страстно привязаны, утверждали, что эта вялость объяснялась не недостатком мужества, а только нерешительностью. По мнению других, пьянство, бывшее его наследственным пороком, ослабило его волю, а длительные периоды запоя были причиной того, что он утратил все свои лучшие качества, за исключением храбрости и вялого добродушия.

И вот именно к нему обратился принц Джон с

приказанием посторониться и очистить место для Исаака и Ревекки. Ательстан, ошеломлённый таким требованием, которое, по тогдашнему времени и понятиям, было неслыханно оскорбительным, не был расположен повиноваться принцу. Однако он не знал, как ему ответить на подобный приказ. Он ограничился полным бездействием. Не сделав ни малейшего движения для исполнения приказа, он широко открыл свои огромные серые глаза и смотрел на принца с таким изумлением, которое могло бы вызвать смех. Но нетерпеливому Джону было не до смеха.

— Этот саксонский свинопас или спит, или не понимает меня! — сказал он. — Де Браси, пощекочи его копьём, — продолжал Джон, обратившись к ехавшему рядом с ним рыцарю, предводителю отряда вольных стрелков-кондотьеров, то есть наёмников, не принадлежавших ни к какой определённой нации и готовых служить любому принцу, который платил им жалованье.

Даже в свите принца послышался ропот. Но де Браси, чуждый по своей профессии всякой щепетильности, протянул длинное копьё и, вероятно, исполнил бы приказание принца прежде, чем Ательстан Неповоротливый успел подумать, что надо увернуться от оружия, если бы Седрик с быстротою молнии не выхватил свой короткий меч

и одним ударом не отсёк стальной наконечник копья.

Кровь бросилась в лицо принцу Джону. Он злобно выругался и хотел было разразиться не менее сильной угрозой, но замолчал, отчасти потому, что свита принялась всячески его уговаривать и успокаивать, отчасти потому, что толпа приветствовала поступок Седрика громкими возгласами одобрения.

Принц с негодованием обвёл глазами зрителей, как бы выбирая более беззащитную жертву для своего гнева. Взгляд его случайно упал на того самого стрелка в зелёном кафтане, который только что грозил Исааку. Увидев, что этот человек громко и вызывающе выражает своё одобрение Седрику, принц спросил его, почему он так кричит.

— А я всегда кричу ура, — отвечал иомен, — когда вижу удачный прицел или смелый удар.

— Вот как! — молвил принц. — Пожалуй, ты и сам ловко попадаешь в цель?

— Да не хуже любого лесничего, — сказал иомен.

— Он и за сто шагов не промахнётся по мишени Уота Тиррела, — произнёс чей-то голос из задних рядов, но чей именно — разобрать было нельзя.

Этот намёк на судьбу его деда, Вильгельма Рыжего, одновременно рассердил и испугал принца

Джона.

Однако он ограничился тем, что приказал страже присматривать за этим хвастуном иоменом.

— Клянусь святой Гризельдой, — прибавил он, — мы испытаем искусство этого поклонника чужих подвигов.

— Я не против такого испытания, — сказал иомен со свойственным ему хладнокровием.

— Что же вы не встаёте, саксонские мужланы? — воскликнул раздосадованный принц. — Клянусь небом, раз я сказал — еврей будет сидеть рядом с вами!

— Как же можно? С позволения вашей светлости, нам совсем не подобает сидеть рядом с важными господами, — сказал Исаак; хотя он и поспорил из-за места с захудалым и разорённым представителем фамилии Мондидье, но отнюдь не собирался нарушать привилегии зажиточных саксонцев.

— Полезай, нечестивый пёс, я приказываю тебе! — крикнул принц Джон. — Не то я велю содрать с тебя кожу и выдубить её на конскую сбрую.

Услышав такое приглашение, Исаак начал взбираться по узкой и крутой лесенке на верхнюю галерею.

— Посмотрим, кто осмелится его остановить, — сказал принц, пристально глядя на

Седрика, который явно намеревался сбросить еврея вниз головой.

Но шут Вамба предотвратил несчастье неожиданным вмешательством: он выскочил вперёд и, став между своим хозяином и Исааком, воскликнул:

— А ну-ка, я попробую! — С этими словами он выхватил из-под полы плаща большой кусок свинины и поднёс его к самому носу Исаака.

Без сомнения, он захватил с собой этот запас продовольствия на случай, если турнир затянется дольше, чем в состоянии выдержать его аппетит. Увидав перед собой этот омерзительный для него предмет и заметив, что шут занёс над его головой свою деревянную шпагу, Исаак резко попятился назад, оступился и покатился вниз по лестнице. Отличная шутка для зрителей, вызвавшая взрывы смеха, да и сам принц Джон и вся его свита расхохотались от души.

— Ну-ка, брат принц, давай мне приз, — сказал Вамба. — Я победил врага в честном бою: мечом и щитом, — прибавил он, размахивая шпагой в одной руке и куском свинины — в другой.

— Кто ты такой и откуда взялся, благородный боец? — сказал принц Джон, продолжая смеяться.

— Я дурак по праву рождения, — отвечал шут, — зовут меня Вамба, я сын Безмозглого, который был сыном Безголового, а тот, в свой

черёд, происходил от олдермена.

— Ну, очистите место еврею в переднем ряду нижней галереи, — сказал принц Джон, быть может радуясь случаю отменить своё первоначальное распоряжение. — Нельзя же сажать побеждённого с победителем? Это противоречит правилам рыцарства.

— Всё лучше, чем сажать мошенника рядом с дураком, а еврея — рядом со свиньёй.

— Спасибо, приятель, — воскликнул принц Джон, — ты меня потешил! Эй, Исаак, дай-ка мне взаймы пригоршню червонцев!

Озадаченный этой просьбой, Исаак долго шарил рукой в меховой сумке, висевшей у его пояса, пытаясь выяснить, сколько монет может поместиться в руке, но принц сам разрешил его сомнения: он, наклонясь с седла, вырвал из рук еврея сумку, вынул оттуда пару золотых монет, бросил их Вамбе и поскакал дальше вдоль края ристалища. Зрители начали осыпать насмешками еврея, а принца наградили такими одобрительными возгласами, как будто он совершил честный и благородный поступок.

Глава VIII

*Труба зачинщика надменный вызов
шлёт,*

*И рыцаря труба в ответ поёт,
Поляна вторит им и небосвод,
Забрала опустили седоки,
И к панцирям прикреплены древки;
Вот кони понеслись, и наконец
С бойцом вплотную съехался боец.*

«Паламон и Арсит»

Во время дальнейшего объезда арены принц Джон внезапно остановил коня и, обращаясь к аббату Эймеру, заявил, что совсем было позабыл о главной заботе этого дня.

— Святые угодники, — сказал он, — знаете ли, сэр приор, что мы позабыли назначить королеву любви и красоты, которая своей белой рукой будет раздавать награды! Что касается меня, я подам голос за черноокую Ревекку. У меня нет предрассудков.

— Пресвятая дева, — сказал приор, с ужасом подняв глаза к небу, — за еврейку!.. После этого нас непременно побьют камнями и выгонят с турнира, а я ещё не так стар, чтобы принять мученический венец. К тому же, клянусь моим святым заступником, Ревекка далеко уступает в красоте прелестной саксонке Ровене.

— Не всё ли равно, — отвечал принц, — саксонка или еврейка, собака или свинья! Какое это имеет значение? Право, выберём Ревекку, хотя бы

для того, чтобы хорошенько подразнить саксонских мужланов.

Тут даже свита принца зароптала.

— Это уж не шутка, милорд, — сказал де Браси, — ни один рыцарь не поднимет копыя, если нанести такую обиду здешнему собранию.

— К тому же это очень неосторожно, — сказал один из старейших и наиболее влиятельных вельмож в свите принца, Вальдемар Фиц-Урс. — Такая выходка может помешать осуществлению намерений вашей светлости.

— Сэр, — молвил принц надменно, придерживав свою лошадь и оборачиваясь к нему, — я вас пригласил состоять в моей свите, а не давать мне советы.

— Всякий, кто следует за вашей светлостью по тем путям, которые вы изволили избрать, — сказал Вальдемар, понизив голос, — получает право подавать вам советы, потому что ваши интересы и безопасность неразрывно связаны с нашими собственными.

Это было сказано таким тоном, что принц счёл себя вынужденным уступить своим приближённым.

— Я пошутил, — сказал он, — а вы уж напали на меня, как гадюки! Чёрт возьми, выбирайте кого хотите!

— Нет, нет, — сказал де Браси, — оставьте

трон незанятым, и пусть тот, кто выйдет победителем, сам изберёт прекрасную королеву. Это увеличит прелесть победы и научит прекрасных дам ещё более ценить любовь доблестных рыцарей, которые могут так их возвысить.

— Если победителем окажется Бриан де Буагильбер, — сказал приор, — я уже заранее знаю, кто будет королевой любви и красоты.

— Буагильбер, — сказал де Браси, — хороший боец, но здесь немало рыцарей, сэра приор, которые не побоятся помериться с ним силами.

— Помолчим, господа, — сказал Вальдемар, — и пускай принц займёт своё место. И зрители и бойцы приходят в нетерпение — время позднее, давно пора начинать турнир.

Хотя принц Джон и не был ещё монархом, но благодаря Вальдемару Фиц-Урсу уже терпел все неудобства, сопряжённые с существованием любимого первого министра, который согласен служить своему повелителю, но не иначе, как на свой собственный лад. Принц был склонён к упрямству в мелочах, но на этот раз уступил. Он сел в своё кресло и, когда свита собралась вокруг него, подал знак герольдам провозгласить правила турнира. Эти правила были таковы.

Пять рыцарей-зачинщиков вызывают на бой всех желающих.

Каждый рыцарь, участвующий в турнире, имеет право выбрать себе противника из числа пяти зачинщиков. Для этого он должен только прикоснуться копьём к его щиту. Прикосновение тупым концом означает, что рыцарь желает состязаться тупым оружием, то есть копьями с плоскими деревянными наконечниками или «оружием вежливости», — в таком случае единственной опасностью являлось столкновение всадников. Но если бы рыцарь прикоснулся к щиту остриём копья, это значило бы, что он желает биться насмерть, как в настоящих сражениях.

После того как каждый из участников турнира преломит копьё по пяти раз, принц объявит, кто из них является победителем в состязании первого дня, и прикажет выдать ему приз — боевого коня изумительной красоты и несравненной силы. Вдобавок к этой награде победителю предоставлялась особая честь самому избрать королеву любви и красоты.

В заключение объявлялось, что на другой день состоится всеобщий турнир; в нём смогут принять участие все присутствующие рыцари. Их разделят на две равные партии, и они будут честно и мужественно биться, пока принц Джон не подаст сигнала к окончанию состязания. Вслед за тем избранная накануне королева любви и красоты увенчает рыцаря, которого принц признает

наиболее доблестным из всех, лавровым венком из чистого золота.

На третий день были назначены состязания в стрельбе из луков, бой быков и другие развлечения для простого народа. Подобным праздником принц Джон думал приобрести расположение тех самых людей, чувства которых он непрерывно оскорблял своими опрометчивыми и часто бессмысленными нападками.

Место ожидаемых состязаний представляло теперь великолепнейшее зрелище. Покатые галереи были заполнены всем, что было родовитого, знатного, богатого и красивого на севере Англии и в средних её частях; разнообразные цвета одежды этих важных зрителей производили впечатление весёлой пестроты, составляя приятный контраст с более тёмными и тусклыми оттенками платья солидных горожан и иоменов, которые, толпясь ниже галерей вдоль всей ограды, образовали как бы тёмную кайму, ещё резче оттенявшую блеск и пышность верхних рядов.

Герольды закончили чтение правил обычными возгласами: «Щедрость, щедрость, доблестные рыцари!» В ответ на их призыв со всех галерей посыпались золотые и серебряные монеты. Герольды вели летописи турниров, и рыцари не жалели денег для историков своих подвигов. В благодарность за полученные дары герольды

восклицали: «Любовь к дамам! Смерть противникам! Честь великодушному! Слава храброму!» Зрители попроще присоединяли к этим возгласам свои радостные клики, между тем как трубачи оглашали воздух воинственными звуками своих инструментов. Когда стих весь этот шум, герольды блистательной вереницей покинули арену. Одни лишь маршалы, в полном боевом вооружении, верхом на закованных в панцири конях, неподвижно, как статуи, стояли у ворот по обоим концам поля.

К этому времени все огороженное пространство у северного входа на арену наполнилось толпой рыцарей, изъявивших желание принять участие в состязании с зачинщиками. С верхних галерей казалось, что там целое море колышущихся перьев, сверкающих шлемов и длинных копий; прикрепленные к копьям значки в ладонь шириною колебались и реяли, подхваченные ветром, придавая ещё больше движения и без того чрезвычайно оживлённой картине.

Наконец ворота открыли, и пять рыцарей, выбранных по жребию, медленно въехали на арену: один впереди, остальные за ним попарно. Все они были великолепно вооружены, и саксонский летописец, рассказ которого служит для меня первоисточником, чрезвычайно подробно

описывает их девизы, цвета, даже вышивки на чепраках их коней. Но нам нет надобности распространяться обо всём этом. Говоря словами одного из современных поэтов, автора очень немногих произведений:

Рыцарей нет,
На оружии — ржавчины след,
Души воинов этот покинули свет.

Их гербы без следа исчезли со стен замков, да и сами замки превратились в зелёные холмы и жалкие развалины. Там, где их знали когда-то, теперь не помнят — нет! Много поколений сменилось и было забыто в том самом краю, где царили эти могущественные феодальные властелины. Какое же дело читателю до их имён и рыцарских девизов!

Но не предвидя, какому полному забвению будут преданы их имена и подвиги, бойцы выехали на арену, сдерживая своих горячих коней и принуждая их медленно выступать, чтобы похвастать красотой их шага и своей собственной ловкостью и грацией. И тотчас же из-за южных шатров, где были скрыты музыканты, грянула дикая, варварская музыка: обычай этот был вывезен рыцарями из Палестины. Оркестр состоял из цимбал и колоколов и производил такое